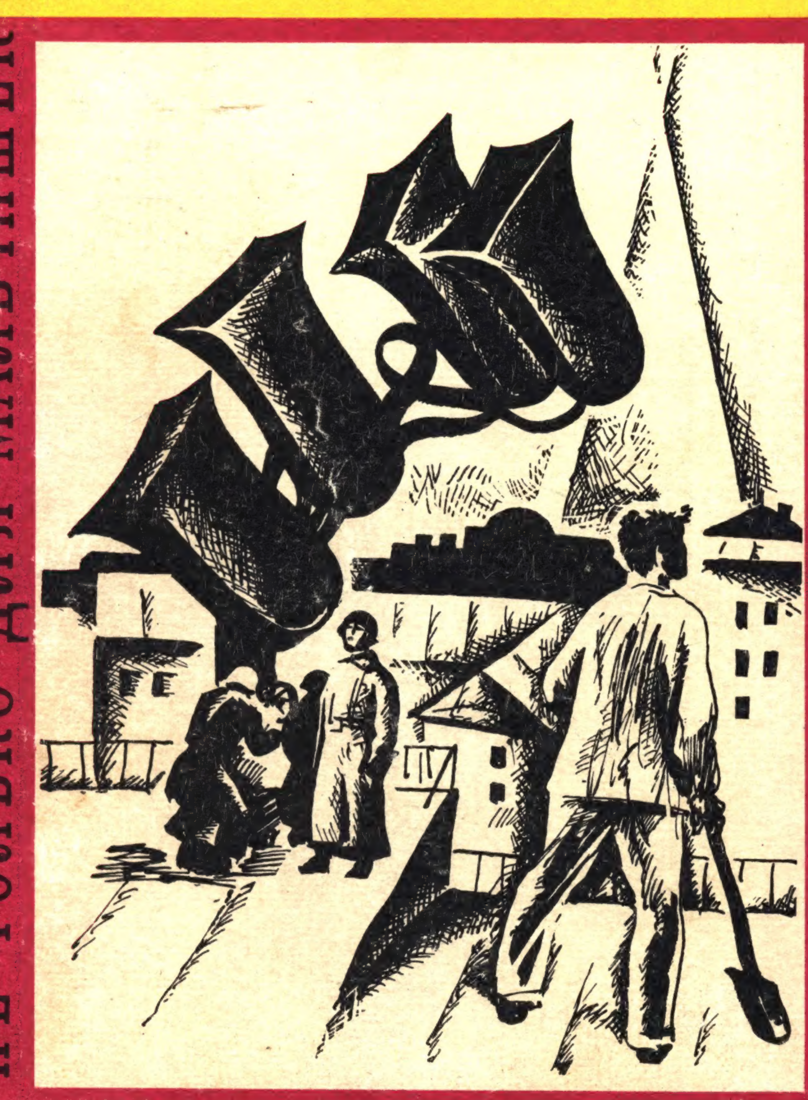
рассказы о храбрых

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК



ДЛЯ ДЕВЧОНОК ТОЖЕ





рассказы о храбрых



НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК • ДЛЯ ДЕВЧОНОК ТОЖЕ

СВЕРДЛОВСК, СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1976

Р2
Р24

Р $\frac{70803-087}{М158(03)-76}$

В этой книге встретились люди, которые в жизни могли никогда не встретиться. Жили они в разных краях нашей страны, совсем непохоже складывались их судьбы, и по возрасту они тоже были очень разные.

Да к тому же повести Н. Куштума «Подвиг» и Е. Ружанского «Над Невой» адресованы школьникам четвертых-шестых классов. Повесть Г. Набатова «Орлиный полет» — ребятам постарше, а остальные два рассказа и повесть обращены к юношеству.

Почему же все они — в одной книге? Что у них общего?

Объединила героев книги суровая, грозная, героическая пора. Шла Великая Отечественная война, жестокая битва с фашизмом. Время это не давало никакой скидки ни на детство, ни на старость, ни на личные обстоятельства... Все как один поднялись советские люди на защиту Родины. И дети проявляли мужество и героизм взрослых. Взрослые радовались каждой маленькой победе, каждому успеху, как дети,— до слез. И все были солдатами единого строя, все слились в едином усилии, как слились фронт и тыл, действующая армия и партизанское движение.

И враг оказался бессилен перед этим грозным, всесокрушающим живым монолитом. Священная ярость наших людей — детей и взрослых — обескураживала и пугала врага. Ярость эта была естественна и неодолима: перед каждым советским человеком стоял вопрос — быть или не быть Советскому государству? На счету были каждый боец, каждая винтовка, каждый патрон.

Не важно, сколько тебе лет. Важно — что ты можешь сделать для Победы! В таких условиях никто не мог оставаться в стороне. И выплескивались из человеческой души самые глубинные силы, человек оказывался способным на такие дела и поступки, о каких он не мог и думать в мирное время.

Это были простые, обыкновенные люди, какие могут встретиться в любом дворе, на любой улице. Они учились, работали, мечтали. И мечты их были мирными, добрыми.

Пятиклассник Костя Ковальчук из повести Н. Куштума «Подвиг» жил под Киевом. Он мечтал после школы учиться на железнодорожного машиниста — продолжить дело отца. Но война отбросила мечту на годы. Костя стал связным у партизан. Он спасает знамя, помогает добыть важные сведения. Он бесстрашен, ловок, испытан в риске. И ему доверяют, как взрослому.

Ленинградец Миша Корольков любит скрипку, занимается музыкой во Дворце пионеров. Вернее — занимался. Теперь он дежурит при бомбежке, гасит немецкие зажигалки, яростно преследует диверсанта и настигает его, едва не рухнув со ската высокой крыши... С ним рядом друзья: Володя Еремеев, Тоня и Вася Толмачевы. Ребята искренне восхищаются мужеством

старших, не замечая, не осознавая, что и сами они уже стойкие, закаленные бойцы, готовые выдержать тяжелейшее из испытаний — голодную блокаду.

И если бы Тоня Толмачева была старше, наверное, она ушла бы на фронт, как Анна Кванскова, героическая медсестра из повести Н. Малыгиной «Встреча». Анне Алексеевне было 32 года, когда началась война. Позади уже большой трудовой путь. Комсомолка, затем коммунистка, она всегда была на самом трудном участке работы. Умела ладить с людьми, умела горячо агитировать за светлое, хорошее дело.

И на фронте Анна Кванскова с первого дня была вдохновляющим примером мужества, отваги, выносливости.

Заново сверкнет перед читателем короткая, но яркая, героическая жизнь юного советского летчика Тимура Фрунзе. Он не представлял себе жизни без ежедневного полезного дела, без служения Родине, народу. Он был счастливым человеком, потому что ясно понимал, для чего он живет. И погиб как герой, самой смертью своей утвердив свои мечты и идеалы.

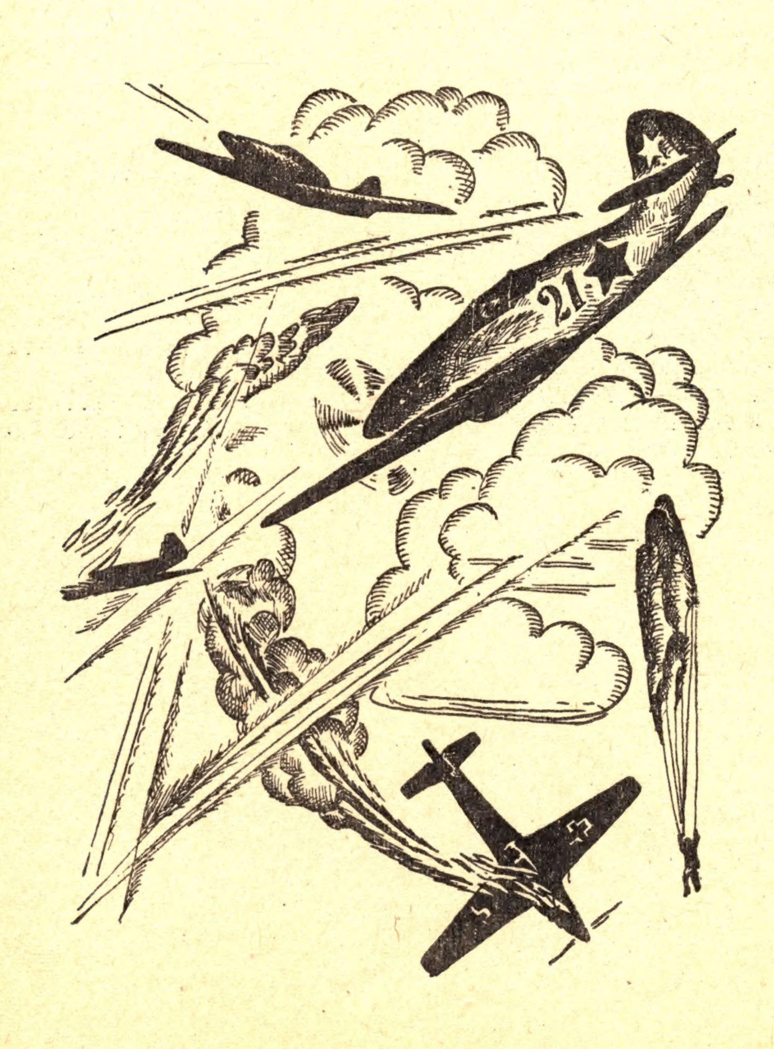
В этой книге показано только несколько граней многосложной военной эпохи. Несколько судеб. Но они типичны. В них ярко отразилось то, что называется коротким словом Подвиг. Подвиг народный, без которого невозможна была бы Победа. Уже целое тридцатилетие прошло после войны. Но никто не забыт, ничто не забыто. Потому что залитые светом улицы, улыбки детей, успехи в мирном труде — все это спасено в те жестокие дни битвы. Об этом мы должны помнить все и всегда, сколько бы нам ни было лет и чем бы мы ни занимались.

Есть такое твердое, ясное понятие — советский характер. Он-то и оказался для врага непреодолимой силой. Так было. Так должно быть всегда.

ГРИГОРИЙ НАБАТОВ

ОРЛИНЫЙ ПОЛЕТ

Документальная повесть



Глава первая

«...ПРИБЫЛ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ»

1

Командир авиационного полка майор Московец, коренастый, суровый мужчина лет сорока, раздумчиво прохаживался по кабинету. У него только что закончилось совещание, где разбирались полеты: полк готовился к перебазированию на фронтовой аэродром.

В дверь кабинета постучались.

— Войдите!

Дверь отворилась, и порог переступил белокурый юноша — высокий, подтянутый, в кожаном реглане.

— Товарищ майор! Лейтенант Фрунзе прибыл в ваше распоряжение для прохождения дальнейшей службы,— отчеканил он.— Вот направление и личное дело.

Командир полка подошел к Фрунзе, протянул ему руку, поздоровался и взял документы. Сев за стол, показал рукой на стул.

— Садитесь, товарищ лейтенант!

Московец прочитал направление штаба ВВС.

— Так, так...— неторопливо произнес он.— Тимур Михайлович Фрунзе...— и неопределенно протянул:— Нда-а...

Несколько минут оба молча разглядывали друг друга. Майор был озабочен тем, как лучше использовать новичка. Полку позарез нужны опытные летчики, а этот, наверное, еще совсем зеленый... Что с него спросишь! Его учить и учить... А Тимур, пристально всматриваясь в орден Красного Знамени, украшавший грудь майора, думал о том, что он, кажется, попал именно туда, куда стремился, раз командир полка удостоен боевого ордена.

Тимур уже успел соскучиться по полетам.

Раскрыв личное дело Фрунзе, майор стал его перелистывать. Тимур, переждав немного, спросил:

— Скоро полк улетит на фронт?

— Что, не терпится?

— Хочется повоевать...

— Ждем приказа... Расскажите, товарищ лейтенант, где учились, как летали?

Тимур рассказал о пути, пройденном с осени сорокового года: Качинская летная школа, запасный истребительный авиационный полк. Школа дала ему многое. Но научился он летать в полку. Летал на самолете Як-1.

— Добро! — сказал майор.— У нас на вооружении этот самолет. Что ж, документы говорят, что в школе вы учились отлично. А какая у вас служебная характеристика?

Московец отыскал в личном деле последнюю характеристику. «Придя в подразделение для изучения самолета Як-1,— читал

про себя командир полка,— лейтенант Фрунзе Тимур Михайлович стремился в кратчайший срок освоить новую материальную часть и сразу попасть на фронт. Летное дело любит и летает с большим задором. На третьем полете в зоне пробыл 40 минут и грамотно проделал все фигуры высшего пилотажа. Отлично вылетел на самолете Як-1 в составе пары и звена. В воздушном бою дрался уверенно, настойчиво, не теряясь в сложной обстановке. Лейтенант Фрунзе проявил себя как скромный, деловой и требовательный к себе летчик и командир».

«Стало быть, новичок не такой уж зеленый, ежели дрался в учебном бою уверенно и настойчиво»,— решил майор. Чем дальше он знакомился с личным делом, тем больше убеждался, что Фрунзе обладает хорошей летной подготовкой. «Такие нам нужны. Но в какую послать его эскадрилью? Каждому комэску хочется заполучить летчиков поопытнее да посильнее: с молодыми много возни. А их надо скорее ввести в строй».

Разглаживая седеющие виски, командир полка спросил:

— А у вас, лейтенант, были летные происшествия?

— Нет, не было.

— Поломки, вынужденные посадки?

— Тоже нет.

— А нарушения?

— Нарушения были, товарищ майор,— коротко ответил Тимур и замолчал. Вероятно, ему не очень хотелось распространяться на этот счет. Но командир полка решил выяснить все до конца:

— Какие именно?

— Однажды я задержался в зоне. Командир звена отстранил меня от полетов. Затем... затем я выполнял пилотаж в зоне и снизился ниже допустимой высоты. Конечно, поступок был ребяческий. Погнался за острыми ощущениями. И справедливо был наказан.

— Так, так... Значит, нарушения были,— недовольно и в то же время настороженно сказал Московец.— Придется, лейтенант, проверить вас в зоне по технике пилотирования. Покажете, что и как.

Тимур заерзал на стуле.

— Вам что-нибудь неясно?

— Нет, отчего же? Ясно.

— Тогда ваша задача: быстрее войти в строй. Зачисляетесь в эскадрилью капитана Кулакова. Дел впереди много: война... Хорошо готовьтесь к каждому полету! А пока идите устраивайтесь, познакомьтесь с товарищами.

— Есть!

2

Появление в общежитии новичка ни на кого не произвело особенного впечатления: все, должно быть, привыкли к тому, что

ежедневно прибывает пополнение. Дежурный указал Фрунзе на свободную койку:

— Располагайтесь!

Тимур разделся, задвинул под койку чемодан. Сев на табурет, огляделся. К окну тянулся ровный ряд аккуратно заправленных коек. На подушках — полотенца, сложенные треугольником. Порядок!

Только Тимур собрался пойти умыться, как к нему подошел подтянутый, сухощавый капитан. Новичок хотел подняться, но капитан жестом руки остановил его.

— Сидите, лейтенант.— И предложил запросто: — Давайте знакомиться! Павел Кулаков. Командир эскадрильи.

— Тимур Фрунзе!

— Мне говорил о вас командир полка. Пойдемте, я познакомлю вас с летчиками.

Они прошли в угол, где за длинным столом у окна сидели пилоты, занятые кто чем. Одни читали газеты, другие писали письма. Третьи играли в шахматы, четвёртые беседовали вполголоса.

Увидев капитана, все встали.

— Сидите, товарищи,— сказал Кулаков.— Хочу вам представить вновь прибывшего летчика. Тимур Фрунзе!

С минуту все молчали, с любопытством разглядывая новичка. Но вот кто-то вскочил и подошел к нему вплотную.

— Здравствуй, Тимур? Узнаешь?

— Сережка... Баталов!.. Вот здорово!..— Тимур обрадованно пожал руку товарищу по Качинской школе.— Ты давно в полку?

— С осени. Когда начались бои за Москву. А ты откуда? Из школы?

— Нет, из запасного полка.

Баталов взглянул на него с недоумением:

— Почему из запасного?.. Насколько я помню, тебя же оставили в школе инструктором.

— Было такое... Пытались оставить, но я отбился... Помнишь, Сережка, вместе с нами окончили школу Степан Микоян и Володя Ярославский?

— Ну, помню. Где они?

— Так вот мы втроем настояли, чтобы нас послали в полк. В школе мы летали на И-16, и нас отправили в запасный полк переучиваться на Як-1. Из запасного Ярославский попал в ПВО, Микоян — в истребительный полк, а меня направили сюда.

— Понятно,— кивнул головой Баталов.— Повоюем, значит, вместе.

— Это другие воюют, а мы...— вмешался в разговор совсем еще юный пилот с глазами, как два черных угля.

— Эх ты, туляк! — осуждающе посмотрел на него Баталов.— Недаром говорят: «Хорош заяц, да тумак, хорош парень, да туляк».

— А ты-то откуда? — спросил обиженно черноглазый пилот.

— Из-под Липеля. Слыхал? На Витебщине.

— Как же, слыхал. Белоруссия! Бульбочка, цибулячка.

Все дружно рассмеялись.

— Гвоздев, потеснись маленько,— обернулся к соседу старший лейтенант с широким, скуластым лицом.— Дай место новичку.— И тут же пригласил Фрунзе: — Садись, лейтенант!

Тот, кого назвали Гвоздевым, вяло, словно нехотя подвинулся на скамейке, освободив место с краю. Тимур сел, осмотрелся. Кроме старшего лейтенанта, пригласившего его сесть, все выглядели очень молодо. У некоторых в петлицах были сержантские знаки различия. «Должно быть, предыдущих выпусков,— подумал Тимур,— теперь из школ выпускают лейтенантами».

— Что же было, Когтев, дальше? — спросил Гвоздев у старшего лейтенанта, желая, видимо, возобновить прерванный приходом Фрунзе разговор.

— Что было? Капитан Титенков схитрил. Он атаковал ганса сверху. Ганс осел, крутнулся и штопором устремился вниз.

— Титенков — ас! — воскликнул Гвоздев.— А кто мы?...

— Чудной ты, право, Алексей! — закачал головой Когтев.— Разве в небе дерутся только одни асы? Это одиночки, а нас тыщи. Обмануть врага должен уметь каждый летчик. Хочешь, спросим у командира звена Ивана Шутова. Верно я говорю, товарищ лейтенант? — обратился он к круглолицему, коротко остриженному лейтенанту с двумя орденами Красного Знамени на гимнастерке.

— Оно, конечно,— ответил Шутов,— бывают случаи, когда без хитрого маневра никак не обойдешься. Летел я, к примеру, в паре с комэском Кулаковым. Было это под Химками. Прикрывали мы канал Москва—Волга. На высоте четыре тысячи встретили двух «мессеров». Ведущий пошел на хитрость. Просигналив крыльями: «Следуй за мной!» — пошел вверх. Пять тысяч метров!

Фрицы под нами. Через просветы в облаках видно, как они стали отворачивать, но было уже поздно. Ведущий атаковал их сверху и зажег одного. Я полоснул очередью другого. «На, гад, получай и ты!..» Перевалившись через крыло, «мессер» сорвался вниз и вычертил дымом свой последний маршрут к земле.

Когда Шутов закончил рассказ, Кулаков отозвал его и Фрунзе в сторону.

— Вот, тебе, Иван, ведомый,— сказал он, обращаясь к Шутову.— Люби его и жалуй! Завтра на Яке ознакомишь его с районом аэродрома и зонами пилотажа. Потом слетаете на боевых машинах. Потренируетесь на групповую слетанность и проведете воздушный бой. Остальное, Ваня, ты знаешь не хуже меня. Действуй! Отдыхайте, а я побегу в штаб. Вызывают.

Шутов хотел что-то ответить, но Кулаков уже шагал широкими шагами к дверям.

На фронте люди сходятся быстро: не прошло и десятка минут, как Шутов и Фрунзе, устроившись на койках, уже беседовали на «ты». Как нередко случается при встрече молодых пилотов, Тимур полюбопытствовал насчет летной погоды.

— Снег валит и валит. Это не помешает завтра?

Шутов ответил быстрым говорком:

— Снежок холодит, снежок и молодит.— И улыбнулся хорошей открытой улыбкой: — Нет, не помешает.

— Ты из Сибири? — спросил Тимур.

— Ага. А как ты признал?

— Да ведь говорок-то не скроешь.— Тимур нарочно нажимал на «о».— Говорят, сибиряки угрюмые, а мне попадаются...

Шутов перебил его.

— Ты еще не видел сибиряков в бою. Нет злее, упорнее и веселее сибиряка.

Фрунзе пришлось еще раз повторить Шутову то, что уже рассказывал командиру полка: какую окончил школу, где и на чем летал. Шутов внимательно слушал, не перебивал. Ему было интересно знать все, что касалось его ведомого.

— А почему ты стал летчиком?— вдруг спросил он Фрунзе. Тимур ответил не сразу.

— Гм... Видишь ли,— сказал он, повременив,— я мечтал стать летчиком еще с детства. Но никто об этом не знал.

— А чего ты скрывал?

— Так надо было. Понимаешь, после смерти родителей и бабушки я много лет воспитывался в семье Климента Ефремовича Ворошилова. Он был для меня и сестры Тани вторым отцом. Ворошилов готовил меня в артиллеристы, я не хотел огорчать его и поступил в спецшколу. Окончил ее, но мечтал по-прежнему о небе. Пошел учиться на летчика. И выучился, как видишь.

— Это мы еще посмотрим,— улыбнулся добродушной улыбкой командир звена.

— А как ты попал в авиацию?— спросил Тимур.

— У меня все иначе,— заявил Шутов.— Родители мои и сестренка Клава работали в колхозе. И я поработал там малость, когда учился в начальной. Потом уехал в город Тайгу. Тут я окончил семь классов и страсть как захотел стать художником. Но не вышло.

— Терпения не хватило?

— Да нет. Совсем другое.

Шутов наморщил лоб, словно вспоминая что-то очень далекое.

— В Тайге был аэроклуб, зачастил я туда, ну и увлекся. Инструктор не только научил меня летать, он душу мне осветил. Я, парень из глухой сибирской деревни Крутогористая,

по-другому стал глядеть на окружающий мир, на жизнь. После аэроклуба поехал на побывку домой, признался родичам: «Хочу учиться на военного летчика». Мать, конечно, заохала: «Ах, Ваня, Ваня,— вздыхала она.— Чем же так приворожил тебя самолет? Поначалу думала — это вроде забавы, а гляди, как обернулось.— И заключила глубоким вздохом:— Ну что ж, коли так, поезжай, сынок». Вскоре я подался в Читу, в летную школу.

— А отец?— взглянул Тимур с удивлением на Шутова.— Неужели он так ничего и не сказал?

— Нет, не сказал. Он знал, что я не отступлю,— произнес Шутов и продолжал:

— Слушай, Тимур. А вот ты... ты помнишь своего отца?

— Смутно: когда он умер, я был совсем малышом. Впрочем,— поправился Тимур,— я видел его еще... живого. Позднее.

Шутов вскинул светлые брови:

— Он же умер в двадцать пятом.

— Ну да,— подтвердил Тимур и добавил.— И все же я видел его.

Иногда в жизни бывают такие моменты, когда хочешь ты этого или нет, сами собой воскресают яркие эпизоды, бережно сохраняемые памятью. Так случилось теперь и у Тимура.

Он рассказал Шутову, как однажды бабушка — ему уже было тогда пять лет — повела его и Таню в кино. Показывали журнал новостей. Несколько человек несли гроб на плечах. «Похороны Ленина»,— низко наклонившись к ребятам, шепнула бабушка. Вдруг среди тех, кто нес гроб, Тимур узнал своего отца. Он шагал прямо к нему. Тимур сорвался с места и побежал навстречу с криком: «Папка! Папка!» Кто-то в темноте пытался его задержать. Сзади торопилась бабушка. «Идем, идем, Тимушка». Чуть ли не силком потащила она внука к дверям, где их уже ждала Таня. Внук упирался, ему хотелось еще раз взглянуть на отца, но экран уже заполнило множество людей. Они шли медленно, плотно сомкнув ряды и низко опустив головы.

— Вот как это было,— вздохнув, закончил Фрунзе.

— Пошли в столовую,— тихо сказал Шутов, как бы желая разом оторвать Тимура от грустных воспоминаний.

Вернувшись после ужина в общежитие, Тимур присел на кровать, достал из планшета блокнот и, пристроив планшет на коленях, стал торопливо набрасывать письмо сестре.

«Здравствуй, Таня!

Нахожусь под Москвой. Ребята здесь что надо, молодые. Но есть и «старики»: на фронте с самого первого дня. В общем, рад беспредельно. Пока не летаю. Но ничего. Главное сделано — я во фронтовом полку. Скоро полечу.

Ну, Таньк, всего хорошего.

Тима».

Глава вторая

ТРУДНЫЙ СЛУЧАЙ

На другой день выдалась ясная морозная погода. Тимур то и дело прищуривался от зимнего холодного солнца и ярко искрящегося снега. Он взглянул на небо и удовлетворенно отметил про себя: «На небе ни облачка. Видимость «миллион на миллион». Погода летная».

Со стороны аэродрома доносился знакомый рокот прогреваемых моторов. Это еще больше разжигало у Тимура желание скорее очутиться в машине. Он с нетерпением бросал взгляды туда, откуда с минуты на минуту должен был появиться Шутов. Наконец тот показался — в теплом шлеме, меховом комбинезоне и унтах.

— Тебе, брат, повезло! — крикнул он, приближаясь.— Погодка-то какая! Пошли!

И они отправились на аэродром.

После того как майор Московец дал указания на летный день, уточнил погоду, пилоты разошлись по машинам. Фрунзе и Шутов направились к своему Яку.

— Товарищ лейтенант, самолет к вылету готов! — доложил Фрунзе механик.

Привычным движением Тимур надел шлемофон и парашют, занял место в передней кабине. Запустил мотор. В задней кабине сидел Шутов, наблюдавший за его действиями. Они выруливали на старт первыми.

Сигнал ракеты...

Тимур дал полный газ. Лопасти вращающегося винта слились в сплошной серебряный диск, позади машины поднялось облачко снежной пыли. Самолет побежал.

Опытный летчик Шутов сразу заметил, что его ведомый не волнуется, не нервничает, как другие новички. Самолет слушается его уверенной руки. И взлет, и посадку Тимур выполнил отлично.

Выяснив в этот раз, на что способен его ведомый, Шутов в каждом новом полете усложнял задания, учитывая опыт войны.

Тимур с охотой учился у Шутова. Он видел, что его командир, несмотря на заслуженную славу, не щеголяет ни перед кем своим удальством. Лейтенант ведет себя скромнее и проще, чем иные, еще совсем молодые пилоты, воображающие себя асами после первого боевого вылета.

Командир звена все больше стал доверять своему ведомому. Вскоре Фрунзе разрешили летать в зону, где он мог тренироваться самостоятельно.

Как-то раз Тимур выполнил задание в зоне пилотажа и возвращался на аэродром. Самолет вел себя точно приручен-

ный, чутко слушаясь малейшего движения, хотя пилот летал на нем недавно.

Настроение у Тимура приподнятое. Он находился под впечатлением удачно выполненного комплекса фигур сложного пилотажа и, сам не замечая того, запел: «Орленок, орленок, взлети выше солнца...»

Истребитель быстро приближался к аэродрому. Тимур проверил режим работы мотора, открыл жалюзи, перевел сектор газа, увеличив обороты.

«Пора выпускать шасси»,— напомнил себе Фрунзе. Он знал случаи, когда молодые пилоты дорого расплачивались за свою забывчивость. Тимур перевел кран шасси вниз, на «выпуск», и стал прислушиваться. Скоро раздадутся два знакомых легких толчка, выйдут из гнезд механические указатели и загорятся зеленые лампочки.

Бежали секунды. Пять... Шесть... Десять... Двенадцать... Пятнадцать. Но увы! Шасси не вышли.

Тимур вспомнил, что должен в таком случае предпринять пилот. Он проверил давление в системе выпуска шасси, поставил кран шасси в положение «убрано», а затем, минуя «нейтраль»,— на «выпуск». Но неумолимо светились красные лампочки. Шасси заклинило...

Посадка с первого захода исключалась, и Фрунзе ушел на второй круг, доложив по радио на командный пункт о трудном случае в воздухе.

На аэродроме заметили, что у истребителя не выпущены шасси, и на посадочной полосе появился крест: «Посадка запрещена».

Только теперь Тимур осознал, какая ему грозит опасность. Посадка с невыпущенными шасси — верная авария.

«Вот дьявол, и надо же...» — злился он.

Такое приключилось с Тимуром впервые. «Как же посадить самолет?»

На старте встревожились не на шутку. Командир эскадрильи, командир звена, летчики, техники не отводили глаз от машины, которая кружилась над аэродромом, не зная, как сесть. И надо же случиться такому, да еще с молодым летчиком!

На аэродроме стояли готовые к вылету истребители. Руководитель полетов запретил им подниматься в воздух.

Тимур взглянул на «иконостас» — так летчики называют приборную доску. «Что с горючим? Так, хватит на десять-пятнадцать минут. Как быть?» — мучительно искал выхода Фрунзе.

А по радио командовали:

— Попробуй аварийную систему!

Тимур открыл кран аварийной системы со сжатым воздухом. Но шасси по-прежнему не слушались.

Тимур не допускал и мысли выброситься с парашютом. Какой летчик оставит исправный самолет? Меньше всего Фрунзе думал в эти минуты о себе. Очень уж обидно, просто недопустимо ломать новую боевую машину, когда под тобой — свой аэродром.

А горючего оставалось все меньше. Если откажет мотор? И Тимур решился:

— Я — «Седьмой»! Я — «Седьмой»! Прошу две тысячи пятьсот метров.

Руководитель полетов заволновался: что он там еще надумал? Но ответил:

— «Седьмому» занять две тысячи пятьсот! Доложите ваши действия.

— Попробую вырвать шасси перегрузкой.

— Выполняйте!

Мысль об использовании фигур сложного пилотажа пришла к Тимуру неожиданно, когда он перебрал в памяти все варианты, какие только мог подсказать ему скромный летный опыт. Шутов как-то говорил ему: «С помощью перегрузки можно вырвать заклинившиеся шасси».

Люди стояли на аэродроме с запрокинутыми головами и ждали, чем все это закончится.

Наступили решающие минуты.

Самолет Тимура спикировал с резким выходом и устремился на горку. Вслед за этим он выполнил две неправильные бочки, так называемые «кадушки», и переворот. После этого машина снова спикировала и снова пошла ввысь.

Время казалось Тимуру бесконечно длинным. А стрелка расходомера горючего меж тем спускалась все ближе к цифре «ноль». От резких перегрузок в глазах Тимура потемнело. Приборная доска то как бы растворялась в сером, то вдруг приобретала свои обычные очертания, стрелки приборов отсчитывали последние минуты жизни мотора, то какая-то неодолимая сила вдавливала его тело в сиденье, то перегрузка исчезала, и тело, и руки, и ноги становились послушными его воле. Мотор натужно ревел при каждом выходе из пикирования и приглушался, когда машина устремлялась вверх.

После каждой фигуры Тимур озлобленно смотрел на зловеще светящиеся красные лампочки, словно они были во всем виноваты. Кабина самолета уже не казалась ему такой удобной и уютной, обжитой, какой она представлялась ему прежде, когда, выполнив задание и возвращаясь из зоны, запел он «Орленка».

«Я, кажется, исчерпал все возможности»,— с грустью подумал Тимур. И вдруг при очередном резком выводе из пикирования самолет перешел в набор высоты, «шарик пионера» метнулся влево до упора. Тимур едва успел отдать ручку от себя для перевода самолета в горизонтальный полет. Скорость начала

падать, под сиденьем глухо стукнуло. В ту же секунду зажглись два зеленых огонька.

— Вышли!— обрадованно воскликнул Тимур. Только теперь он почувствовал, что в кабине стало очень жарко. Взгляд его тревожно скользнул по приборной доске. «Бензин на исходе!»

— Я — «Седьмой»! Я — «Седьмой»! Прошу посадку! Шасси вышли.

— «Седьмому» посадка!— тут же ответили с командного пункта.

Все ближе земля. Она бежит навстречу — такая желанная.

Когда машина закончила пробег, винт остановился сам, без вмешательства пилота: кончился бензин...

Автотягач отбуксовал самолет к месту стоянки. Тимур выбрался из кабины. Первыми к нему подбежали командир эскадрильи Кулаков и Шутов. По тому, как его обнимали, жали ему руку, он понял, что они крепко переживали за него, волновались. И теперь радуются.

— Качнем его, ребята! — крикнул Сергей Баталов.

— Не надо, Сережка! Слышишь? — взмолился Тимур.

Не успел Тимур опомниться, как его начали подбрасывать. Он летел то вверх, то вниз, думая: «Сейчас вытрясут из меня всю душу».

— Стоп! — скомандовал командир эскадрильи Кулаков. Когда Фрунзе поставили на ноги, продолжил, обращаясь к нему: — Главное, не растерялся. Держался орлом! И красиво сел, даже очень красиво, — похвалил он, довольный тем, что все обошлось. Баталов взял Фрунзе по-дружески под руку.

— Я верил, Тимка, что все будет нормально, — сказал он взволнованно. — Я бы, знаешь, не прочь иметь такого ведомого.

Глава третья
ПЕРВЫЙ БОЕВОЙ...

1

Первая неделя службы Тимура в полку не прошла даром. От полета к полету росло его мастерство. Как он жалел, что не попал в этот полк раньше!

По тому, как Московец поторапливал пилотов быстрее освоить новую боевую технику, Тимур догадывался, что до вылета в район боевых действий остается считанное время.

Ведущий Шутов и его ведомый Фрунзе стали неразлучны и в воздухе и на земле. Командир полка давно заметил это и в душе радовался: стоящая пара! Не подведет!

Шутов и Тимур старались выжать из своего самолета все, что он мог дать, уделяя особое внимание освоению тактики

воздушного боя своей и вражеской авиации. Тимур ощущал себя в полете неотъемлемой частицей воздушной пары, надежным щитом своего ведущего.

Шутов часто напоминал ему вроде бы прописную истину: «Прежде чем атаковать, посмотри назад, не атакуют ли тебя». Ведущий учил Тимура осмотрительности в бою. «Успех боя, — говорил Шутов, — зависит от внезапности. Кто первый увидел, тот и съел!»

Однажды Тимур вернулся из очередного полета, зарулил самолет на место стоянки и направился в общежитие. Под ногами скрипел плотный снег, отдающий синевой. Снег лежал толстым слоем на крышах и карнизах зданий Подмосковного аэродрома, где временно базировался полк. У дверей общежития Тимур неожиданно столкнулся с дежурным по штабу.

— Вас-то мне и надо, товарищ лейтенант, — обрадовался дежурный. — Командир полка вызывает срочно.

— Зачем, не знаете?

Дежурный пожал плечами.

«Зачем я мог понадобиться командиру полка?» — недоумевал Тимур, открывая дверь кабинета.

— Прибыл по вашему приказанию, товарищ майор! — доложил он.

— Садитесь, потолкуем, — вымолвил Московец, не поднимая глаз от бумаги со служебным штампом и красной звездочкой сверху. — Как летается? — спросил он, продолжая смотреть на бумагу.

— Помаленьку,— односложно ответил Тимур и запнулся, узнав по штампу учреждение: штаб ВВС. «Так вот зачем меня вызвал майор!»

— Нда-а...— протянул командир полка, поглаживая круглый подбородок и, видимо, колеблясь: сказать ли Тимуру прямо, в чем дело, зная, что это огорчит его, или лучше выждать. — Ведь как-то разговора у нас с вами об этом не заходило, — произнес Московец.— А выяснить бы надо.

Тимур насторожился: какой разговор? О чем? И хотя сердце подсказывало ему, что в этом документе кроется недоброе, он улыбнулся через силу.

— Что вас интересует, товарищ майор?

— Скажите, Фрунзе, что это за «добрый дядя» печется о вас в штабе ВВС?

Тимур сидел ошеломленный. «Какой дядя?»

— Что случилось, товарищ майор?

— Получен приказ откомандировать вас в Москву.

— В Москву? — растерянно повторил Тимур. — Он не мог этому поверить. «Неужели в штабе ВВС не знают, что полк накануне отправки на фронт? А может быть?..»

— Товарищ майор, как вы думаете? Это приказание не связано с тем, что полк скоро сменит дислокацию?

2 Заказ 738

— Возможно, — ответил Московец печальным тоном. — Чувствовалось, что ему было жаль отпускать Фрунзе из полка. Его тут полюбили, сдружились с ним.

— Я хочу... я хочу... — запинался от волнения Тимур. — Я хочу просить вас, товарищ майор, задержите выполнение приказания. Разрешите съездить в Москву?

Тимур почувствовал на себе тяжелый, взвешивающий взгляд командира полка, решающего в этот миг его судьбу. Он знал, что получить от Московца «добро» нелегко, но надежды не терял.

Московец долго не отвечал. Конечно, ему может попасть от начальства за невыполнение приказания. Да и не в его натуре было нарушать дисциплину.

Он тяжело поднялся со стула и, заложив руки за спину, прошелся взад-вперед по кабинету. Остановившись, посмотрел на Тимура.

— Мое такое слово: добро! Поезжай! Только сейчас же! — И дополнил фразу стремительным движением руки. — Завтра уже будет поздно. В штабе выпишут документ. И сегодня же обратно. Смотри!..

— Есть, сегодня же обратно.

Тимур устроился в электричке возле окна. Пассажиров было негусто. Главным образом военные.

Замелькали дачные поселки. Почти на каждом дворе — крытые машины, к заснеженным верандам прислонились мотоциклы. Из дома в дом перебегали военные. В парках на деревьях наброшены пятнистые маскировочные сети, из-под которых выглядывали стволы орудий, башни танков.

«В боевой готовности. Как у нас в полку». Дума о своей части вернула Тимура к недавней беседе с командиром полка. «Почему майор спросил о «добром дяде», что печется обо мне? Кого он имел в виду? Неужели Ворошилова?»

Тимур вспомнил весь разговор с маршалом после того, как решил пойти учиться на летчика. «Да, мое решение было Ворошилову не совсем по душе».

— Как же так, Тимур? Учился, учился в артиллерийской спецшколе, и вдруг — на тебе! — в авиацию. Это серьезно?

— Да, Климент Ефремович.

— Пойми меня верно, Тимур. В Красной Армии все рода войск почетны. А об авиации и говорить не приходится. Ты же знаешь, как я отношусь к летчикам. Но твое намерение так для меня неожиданно. И давно ты задумал?

— Порядочно.

— Когда?

— Точно не помню. Еще в детстве.

— Не думай, что я хочу тебя неволить. Зачем? Со временем ты, конечно, станешь отличным авиатором. Но это нескоро. Летному делу надо учиться долго.

— Знаю, Климент Ефремович. И готов...

Десять лет Тимур рос в семье Ворошилова. И все это время отношение Климента Ефремовича и его жены Екатерины Давыдовны к детям Фрунзе — Тимуру и Тане — было самым сердечным, близким и родным. «Нет, Ворошилов тут ни при чем,— размышлял Тимур.— Климент Ефремович — верный друг отца. Значит, и мой тоже. А верные друзья так не поступают».

Перебирая мысленно всех возможных «доброжелателей», Тимур вдруг встрепенулся: «Может, полковник из летной школы?»

...Когда Фрунзе окончил Качинскую летную школу, ему, как отличнику, предложили остаться инструктором. Полковник, который беседовал с ним по этому вопросу, не сомневался, что он согласится.

— Будете готовить новые кадры пилотов, — сказал он, расплываясь в улыбке, и многозначительным тоном добавил: — Вы не представляете, товарищ лейтенант, какое это сейчас почетное дело...

Обычно Тимур был скор на ответ. Он говорил быстро и горячо. Но тут помедлил. Конечно, очень заманчиво и почетно учить других. Отдаешь сполна людям то, чем овладел сам. Но он-то стремился совсем к другому: скорее закончить школу и летать, летать. Тем более сейчас, когда такая война. Где же его место? На фронте! А его хотят оставить в школе. Нет, нет, и думать нечего.

Тимур вежливо отклонил предложение:

— Я, товарищ полковник, очень хорошо представляю себе роль инструктора. Благодарю за доверие. Но я хочу на фронт. И только на фронт.

2

Прежде чем явиться в отдел кадров штаба ВВС, Фрунзе позвонил из дому Ворошилову.

— Здравствуйте, дядя Климентий! Это я, Тимур.

— Здравствуй, мой дорогой! Откуда ты звонишь?

— Из Москвы!

— Как ты очутился в Москве?

— Очень просто. Я уже отвоевался.

— Как это понять? Тебя что, откомандировали? — услышал Тимур тихий голос.

— Нет еще. Но хотят оставить в тылу.

— Ты в этом уверен?

— Конечно. Есть команда из штаба ВВС. Мой полк скоро улетает. И я должен с ними тоже... Прошу вас, дядя Климентий, объясните товарищам из штаба ВВС всю нелепость этой затеи. Как я посмотрю в глаза своим товарищам,

— Хорошо. Я позвоню. Тебя не станут задерживать. Будь счастлив, дорогой Тимур!

Когда Фрунзе пришел в отдел кадров, тут уже знали о его беседе с Ворошиловым.

Офицер отдела хмуро взглянул на Тимура.

— Где ваше командировочное?

Тимур протянул документ.

Офицер сделал на командировочном предписании отметку и, вручая Тимуру документ, сказал:

— Можете, лейтенант, возвращаться в свой полк.

Уже в сумерках Фрунзе вернулся в военный городок и поспешил в штаб доложить командиру полка о результатах поездки. Он шел и радостно думал: «Вот ты опять, Тим, среди своих. Здесь у тебя все: и дом, и семья, и товарищи. С ними ты и пойдешь в бой».

Фрунзе вернулся в полк вовремя.

Еще не рассвело, когда дежурный, заглянув в общежитие, громко крикнул:

— Подъем!

Оба надели в темноте брюки, меховые унты. Шутов включил электричество, и желтый свет озарил помещение.

Командир звена сел рядом с Фрунзе:

— Да возрадуется душа твоя, Тимур! Через час полк улетает. На северо-запад.

— Вот это новость! Ур-р-а-а!

— Если хочешь написать родным — поторопись. Скоро пойдем завтракать.

Тимур сел к столу, вынул из планшета листок бумаги и конверт.

«Здравствуй, Танька!

Сегодня улетаем на северо-запад.

Вчера был в Москве, разговаривал с К. Е. У него ты сможешь узнать обо всем (а также адрес).

Итак, улетаем. Ты не представляешь, Таня, как я счастлив! Наконец-то и я тоже буду бить врага!

Да, письма идут к вам чертовски медленно.

Ты, Танька, не вздумай ожидать моих писем и отвечать только на получаемые.

Пиши почаще. Всего хорошего.

Тима».

Тимур успел отнести письмо в штаб, сбегать в столовую.

— Выходи строиться! — услышал он команду и занял свое место в строю.

Командир полка отдавал последние распоряжения.

— По машинам!

Взвилась зеленая ракета. Майор разрешил взлет.

Время от времени Тимур поглядывал вниз на разрушенные железнодорожные станции со взорванными водокачками,

на лежащие в руинах поселки, на сожженные дотла деревни.

Горестная картина войны, еще непривычная для глаз Фрунзе, вызывала у него чувство острой ненависти к врагу. «Злодеи! Недолго вы хозяйничали в Подмосковье, а какие раны! Сколько горя и страданий!»

По шоссе двигалась толпа. Это наши люди возвращались в родные места. Тимур воспринял это как добрую примету...

3

Аэродром, где расположился полк, можно было с полным правом назвать фронтовым.

Куда ни кинешь взгляд — следы налетов вражеской авиации. Обгоревшие тягачи, искореженные взрывом бочки из-под бензина, черные воронки, как язвы на здоровом теле земли, покрытой снегом.

На краю аэродрома четко выделялось грязно-жирное пятно от пожарища, которое служило теперь для летчиков ориентиром при заходе на посадку.

В полку начались фронтовые будни. Весь день в воздухе не утихал гул самолетов, направляющихся к линии фронта либо возвращающихся с задания на аэродром.

За первым вылетом Фрунзе последовали второй и третий. И все безрезультатно. Тимур ходил сам не свой. Он так неудержимо рвался в бой, а командир полка, точно назло, поручал все время ему в паре с Шутовым патрулировать аэродром.

Он не был так наивен, чтобы не понять, в чем дело. И обратился к Московцу:

— Прошу вас, товарищ майор, включить меня в боевую группу.

— К сожалению, лейтенант, в данной обстановке я не могу этого сделать, — официальным тоном ответил командир полка.

— Очень прошу вас, товарищ майор, пошлите меня в бой! — воскликнул в сердцах Тимур. — Не делайте для меня исключения. Я не хочу отсвечивать авторитетом своего отца. Я хочу быть самим собой.

Майор понимающе взглянул на него и тут же, опустив глаза, произнес глухо:

— Память о вашем отце Михаиле Васильевиче Фрунзе требует от меня быть осторожным.— Он помолчал: — Нда-а... Ночью мне сообщили, что на нашем участке появились новые, модернизированные «мессершмитты» — Ме-109Ф. Они очень опасны даже для опытных пилотов.

— Ну и что? Я же полечу не один, — продолжал настаивать Тимур. — Со мной Шутов.

— Хочу упрекнуть вас, лейтенант, в непоследовательности, — заявил Московец. — Вы просили меня не делать для вас исключения?

— Так точно, товарищ майор,— подтвердил Тимур, не догадываясь, куда клонит командир полка.

— Так вот. В полку много молодых летчиков. Они тоже просятся в бой. А я их пока не пускаю. Почему я должен сделать для вас исключение? Что скажут ваши товарищи?

Довод был убедителен.

Тимур только спросил:

— Значит, сегодня опять патрулировать?

— Да, опять понесете с Шутовым дежурство в воздухе. Но разрешаю вам немного отклониться от обычного маршрута. Только очень далеко не забирайтесь.

— Можно так передать командиру звена?

— Передайте.

Они летали вокруг своего аэродрома, иногда чуть отклоняясь в сторону, пристально вглядываясь в небо, но ничего подозрительного не замечали. Сделав очередной круг, Шутов направил свой самолет к линии фронта, но далеко не углубился: не позволяло летное задание. Неожиданно глаза его заметили черную точку, мелькнувшую в небе.

— «Седьмой»! «Седьмой»! — услышал Тимур в наушниках свой позывной и крепче сжал ручку, ставшую сразу горячей.— Справа, под 30 градусами, выше полторы тысячи вижу цель! К бою!

Рука Шутова автоматически сделала быстрое и плавное движение, переводя сектор газа вперед до упора. Мотор увеличил обороты, и машина полезла вверх. Тимур тотчас же повторил маневр ведущего. Оба самолета вмиг развернулись и ринулись на перехват к вражескому бомбардировщику.

«Юнкерс» был в прицеле, когда Яки сблизились с ним на дистанции в четыреста метров и открыли огонь из пулеметов. Но очереди не попали в цель. Самолет противника резко спикировал. Стрелок «юнкерса» огрызался огнем, пытаясь отпугнуть наседавших истребителей.

— «Седьмой», не отставай! — крикнул Шутов в микрофон. Прекрасная машина Як — истребитель Яковлева. Не уйти от нее фашисту. Шутов дал одновременно пулеметную очередь и залп из пушки. Тимур ничего не видел, кроме своего ведущего, Шутов стрелял, и он стрелял.

Кто именно из них попал с близкой дистанции в «юнкерс», установить было невозможно. На какую-то долю секунды фашистский бомбардировщик словно замер, покачнулся и, потеряв управление, вошел в штопор. Вдруг он задымил и, не долетев до земли, взорвался.

Каждая минута этого боя запала глубоко в душу Тимура. Ведь у него это был первый самолет, сбитый в бою. «Пускай не один я угробил его, а вместе с ведущим, но все-таки ведь угробил! — радостно думал Тимур.— Ну вот и воюем! Сбылось!»

Вернулись на аэродром в отличном расположении духа. На посадочной дорожке их уже поджидал шустрый, голубоглазый техник Дмитрий Менков.

— С удачей, товарищи лейтенанты! — Он вынул из кармана ватной куртки небольшую книжечку: — Так и запишем: «Шутов и Фрунзе сбили «юнкерс».

Менков завел для себя такое правило: когда летчики сбивали вражеский самолет коллективно, он заносил их фамилии в книжечку.

Если кто-либо сбивал индивидуально, техник рисовал на фюзеляже самолета звездочку.

Зарулив машины, летчики отправились к командиру полка докладывать о сбитом «юнкерсе».

Московец выслушал рапорт командира звена и довольно сказал:

— Добро!

Потом повернулся к Фрунзе:

— Видишь, Тимур, и патрулируя, можно сбить фрица!

— Вы бы видели, как он охотился за этим «юнкерсом», с каким упорством! — одобрительно отозвался о своем ведомом Шутов.

— А как же иначе, — произнес оживленно Тимур. — Это ж мой первый боевой..

— Так и запишем,— улыбнулся Московец.— Ну, идите отдыхайте.

4

В землянке они застали только пилотов дежурного звена. Остальные были на задании. Полк ежедневно вел боевую работу, и каждый летчик вылетал много раз в сутки, чтобы биться одному против троих, пяти. Количественное превосходство противника в авиации приходилось в то время возмещать мастерством и дерзостью.

— Что будем делать? — спросил Тимур, раздеваясь.

— Отдыхать, как приказал командир полка.

Они улеглись на нарах.

Шутов, не закрывая глаз, тихо посапывал. Он думал о матери, о старшей сестре Клаве, которая обещала писать почаще, а шлет редко короткие, с воробьиный нос, весточки.

Тимур только теперь почувствовал, как устал. Сказалось нервное напряжение, испытанное в первом бою. Он притронулся рукой к соседу.

— Ваня, можно тебя спросить?

— Давай, — встрепенулся Шутов.

— Не могу я понять, почему у меня страха не было. Опасность я ясно чувствовал, а страха... не помню.

— Тебе так кажется. Чувство страха бывает у всех. Бой

есть бой. Просто о себе думать некогда. Ненависть к врагу всякий страх затмит! Главное — не выпустить, не сплоховать.

— Это ты верно сказал про ненависть.

Глава четвертая
ПОЕДИНОК С «ХЕНШЕЛЕМ»

1

Сразу же после «подъема» командир полка собрал в своем блиндаже летный состав. Московец подвел итог последних воздушных боев, в которых участвовали пилоты полка. Он обратил их внимание на сильные стороны немецких машин, в частности самолета «Хеншель-126». Майор предупредил, что хорошая маневренность и прочная броня снизу порой обеспечивают «Хеншелю-126» возможность безнаказанно вести разведку и корректировать огонь своей артиллерии по нашему переднему краю.

После разбора Тимур вернулся к себе в землянку, густо запорошенную снегом, и стал ждать Шутова. Когда расходились, Московец зачем-то задержал его. Тимур случайно поймал на ходу слова: «...дельце есть к тебе...»

Командир звена долго не возвращался. Тимур решил, что Шутов заглянул по пути в капонир и заговорился с техником звена. А может быть, уточняет боевое задание.

Тимур подошел к окну. На востоке алела узкая полоска.

Мысли его переключились на далекий Челябинск, где работала сестра Таня. Как ей там? Почему так долго не шлет весточки? Степан тоже хорош. Как расстались — молчит. Его очень огорчало, что, с тех пор как друзей назначили в разные полки, связь между ними оборвалась. «Летает небось вовсю...»

Фрунзе не знал, что Степан Микоян лежал в это время в госпитале: фашисты сбили его самолет.

С шумом распахнулась дверь, и в землянку вбежал Шутов. Язычок пламени самодельной лампы испуганно метнулся в сторону.

Шутов лукаво прищурился, повторил слова Московца:

— Есть дельце...

— Какое?

— Нам опять разрешили свободную охоту. Конечно, после патрулирования. Понимаешь, к нам повадился немецкий разведчик. Прилетает чуть ли не каждый день. Часами висит над нашими окопами и артиллерийскими позициями, корректирует огонь.

— Это «костыль»?

— Он самый. «Хеншель-126». Про него говорил Московец.

Тимур мысленно представил себе фашистский самолет —

уродливый, с длинными, как ноги у цапли, шасси, с большой стеклянной кабиной наблюдателя.

— Вредный, черт! — зло добавил Шутов.— И очень юркий. Майор приказал во что бы то ни стало с ним покончить. Собирайся!

Вместе вышли из землянки.

Вначале, как обычно, они патрулировали в районе аэродрома, а когда их сменила другая пара, отправились на свободную охоту вдоль линии фронта. Летели рядом, наблюдая за воздухом. И вдруг Шутов заметил корректировщика.

— «Седьмой», внимание! Под нами «Хеншель-126».

— Атакуем, а? — сгоряча предложил Фрунзе, но Шутов сдержал его:

— Успеем. Надо хорошенько осмотреться. Нет ли у «костыля» приятелей...

Не обнаружив в небе других вражеских самолетов, наши истребители развернулись и пошли на сближение с «хеншелем». Но вражеский летчик почему-то не реагировал. Его экипаж, очевидно, чувствовал себя в безопасности и был целиком поглощен корректировкой огня своей артиллерии.

Не успели самолеты Шутова и Фрунзе подойти к «хеншелю» на близкую дистанцию, как сверху свалились два «мессера» и сорвали атаку нашей пары.

Яки, набрав высоту, скрылись за облака. Гитлеровцы тотчас же обнаружили их исчезновение и, конечно же, поставили это себе в заслугу: русские-де испугались и смылись.

«Мессеры» то кружились вокруг корректировщика, выполняя замысловатые восьмерки вдоль линии фронта, то удалялись в сторону солнца и оттуда зорко наблюдали за своим подопечным. Когда они удалились от «хеншеля» на порядочное расстояние, Шутов крикнул в микрофон:

— «Седьмой»! «Седьмой»! Я атакую «мессеров». А ты «потолкуй» с «костылем».

— Вас понял, — ответил Тимур.

Вынырнув из-за облаков, Шутов сделал заход и атаковал сверху, сзади ведущего «мессера». Пулеметная очередь прошла где-то возле кабины летчика. Шутов взмыл вверх, переложив машину на крыло, и тут же увидел: «мессер» падал крутой спиралью. Из-под брюха тянулся черный след.

Однако у самой земли дым вдруг исчез, фашистский летчик неожиданно выровнял самолет и понесся на выручку своему ведомому, которого намеревался атаковать Шутов.

«Ах, стервец! Прикинулся сбитым и еще шашку дымовую зажег!.. Ну, погоди, будешь мне хитрить».

Шутов снова атаковал ведущего, но тот ловко сманеврировал, выйдя из-под удара полупереворотом у самой земли, и даже попытался ответно атаковать Як Шутова, но безуспешно.

Над передним краем разгорелась воздушная дуэль.

Шутов хотел уравнять силы с «мессерами», чтобы обеспечить успех Тимуру, но пока это не удавалось.

Правда, главный замысел его осуществился: вражеские истребители, ввязавшись в бой с ним, вынуждены были теперь позаботиться о себе, оставив на произвол судьбы корректировщика, с которым вступил в поединок Фрунзе.

Поначалу Тимур атаковал «хеншель» в лоб, но с большой дистанции, дав длинную очередь из пулемета. «Хеншель» отвернул в сторону, а затем вошел в глубокий вираж. Когда Як стал приближаться, стрелок кормовой турели открыл по нему огонь. Атака была сорвана. «Вот так «костыль»!» — возмутился Тимур.

Корректировщик восходящей спиралью лез вверх. Фрунзе повторил атаку, но «хеншель» перевернулся «на спину» и нырнул вниз на встречном курсе под самолет Фрунзе. Тогда Тимур, сделав переворот, погнался вслед за противником, но тот резко вывел машину из пике, очутился выше Тимура и стал недосягаем для его огня.

Тимур представил себе, как злорадствует фашистский летчик, вероятно уверенный, что не ахти какой сильный у него противник. Боевым разворотом Тимур набрал высоту и еще раз атаковал противника со стороны солнца, но «хеншель» начал маневрировать в эту же сторону. Когда Тимур нажал гашетку и открыл огонь из пушки, «хеншель» неожиданно растворился в лучах солнца. Тимур совсем потерял его из виду на несколько секунд, и эти секунды едва не стали для Яка роковыми: пулеметная трасса гитлеровца прошла чуть выше левого крыла истребителя.

«Что же делать? — думал Фрунзе.— Мне тяжко, и Шутову нелегко отбиться от наседающих «мессеров».— И тут ему пришли на память сказанные как-то Шутовым слова: «Артист наперед знает, что и как ему играть. А ты каждый раз соображать должен, какой лучше выбрать маневр. Для всякого положения в бою есть свой маневр, есть секунды, чтобы его осуществить».— Какой же выход сейчас?»

Тимур вдруг ясно понял: самое верное — соколиный удар!

Энергичным разворотом Фрунзе набрал четыре тысячи метров и повис над «хеншелем». Словно сокол, он обрушился на фашиста сверху в почти отвесном пике. Размер вражеской машины быстро увеличивался в перекрестии прицела. Тимур как бы весь слился с самолетом в едином порыве концентрированной воли и неотвратимого удара по цели. Положив указательный палец на гашетку, он одновременно плавно подтягивал к себе ручку управления, вынося угол упреждения.

«Пора! Огонь!» Палец нажал гашетку. Як мелко задрожал от пулеметной очереди и пушечного огня. Бешеные трассы пуль и снарядов глубоко прошили корректировщик. Тимур

успел заметить, как «хеншель» на какой-то миг словно замер на месте, потом вспыхнул и рухнул вниз.

Не сбавляя скорости, Тимур поспешил на выручку к Шутову. Он подоспел вовремя. Силы уравнялись.

— Молодец «Седьмой»! Теперь мы дадим и этим! — услышал Тимур по радио знакомую скороговорку Шутова.— За мной! Лобовая атака, понял?

Тимур уже знал, что это значит, какое требуется мужество и воля, чтобы решиться на такое.

Шутов устремил свою машину прямо в лоб ведущему «мессеру». Фрунзе повернул Як на ведомого гитлеровца и взял его в перекрестие. Самолеты быстро сближались. Тимур был уверен, что Иван не отвернет первым и твердо решил идти с ним до конца, хотя расстояние до ведомого «мессера» было почти в два раза больше, чем между Шутовым и ведущим вражеской пары.

Дистанция между двумя ведущими — нашим и фашистским — угрожающе сокращалась. Вот уже хорошо видны желтый лоб, диск вращающегося винта и выпуклость фонаря. Кажется, еще мгновение — и самолеты столкнутся в воздухе, но в самый последний момент фашист не выдержал: отвернул и пошел вверх. Но пулеметные очереди Яка, пропоров морозный воздух, настигли вражеский самолет. Заваливаясь на правое крыло, он перешел в беспорядочное падение.

Второй фашистский истребитель, увидев, что его ведущий сбит, снижаясь на большой скорости, стал удирать за линию фронта.

Когда ведущий и ведомый вернулись на аэродром и зарулили на стоянку, к Тимуру подбежал его техник Дмитрий Менков.

— Мне особенно приятно, товарищ лейтенант, — сказал он, — что вы сбили фашиста на моем самолете. Пусть это будет не последний. Я сейчас нарисую звездочку.

— Спасибо, товарищ сержант, — ответил Тимур в том же тоне. — Постараюсь на вашей машине сбить еще. На радость вам. И мне, конечно.

— И вас я тоже поздравляю, товарищ лейтенант, — продолжал Менков, обращаясь к Шутову. — На фюзеляже вашей машины прибавится еще одна звезда — девятая.

— Спасибо, Дима.

Весь вечер в полку только и было разговоров о боевой удаче Шутова и Фрунзе.

Их пришли поздравить командир полка Московец и комиссар Мясников, командир эскадрильи Кулаков. Все были рады успешному полету.

Тимур жалел, что сбил всего-навсего корректировщика.

— Вот если бы истребитель! А то «костыль»...

Командир полка хлопнул его по плечу.

— Ты думаешь, что сбить «хеншель» легче?

— Вы бы только знали, товарищ майор, какой он юркий. Раз пять я его атаковал!

— Подумаешь, «пять раз». Удивил! — весело сказал Московец. — Я такой «костыль» атаковал двенадцать раз. И не мог сбить. Он, понимаешь, ухитрился сесть на лесную поляну, а я улетел на аэродром без патронов... А вы молодцы! Сбили по самолету. Благодарю вас, товарищи!

— Служу Советскому Союзу! — дружно отозвались летчики.

2

Тимур, конечно, гордился тем, что сбил «хеншель», но вида не подавал. Даже в письме к сестре упомянул о сбитом самолете вскользь, между строк.

«Здравствуй, Таня!

Я жив-здоров. И вообще все в порядке. Летаю часто и коечего достиг. У меня на счету уже сбитый самолет, но если бы ты знала, как это мало! Враг взбешен. Мы наступаем ему больно на «мозоль». И будем наступать еще сильнее.

Что слышно у тебя?

Целую.
Тим».

Письма с фронта в Челябинск шли тогда очень долго, и сестра, по-видимому, еще ничего не знала о первых боевых делах Тимура, когда писала ему:

«Здравствуй, Тимурка! Сегодня у нас Климент Ефремович. Он обещает как-нибудь связаться с тобой, когда будет в Москве. Я не уверена, что получится, но почему не попробовать! Ведь если ты и пошлешь новый адрес, то он пройдет месяц-полтора...

Как бы мне хотелось знать о твоих делах! Но это, к сожалению, почти невозможно. Рада за тебя, что наконец достиг того, о чем мечтал все время: ты на фронте! Слышала, что этому предшествовало (про эту глупую историю с откомандированием), и вполне согласна с вами (с тобой и К. Е.), что нельзя было так делать. Конечно, мне это было бы спокойнее, но не всегда, что спокойнее, то правильнее.

Прошу тебя только об одном: будь хладнокровнее, не делай глупостей. Тебе ведь еще здорово надо поучиться у людей более опытных. Ну, да я уверена, что ты сам все прекрасно понимаешь. Больше не буду повторять этого.

Вероятно К. Е. тебе рассказывал о нашей жизни, живем очень дружно. Все работаем, и все работой довольны. Пожалуй, я довольна больше всех: работа очень обширная, я вижу

массу интереснейших вещей, о которых раньше имела весьма смутное и даже, как оказалось, неверное понятие. Одним словом, очень довольна.

Вот только бы получить от тебя письмо, тогда бы все хорошо!

Ну, Тим, вот и все приблизительно, что у меня нового. Переписываюсь с тетей Люшей и Клашей (одна — в Ташкенте, другая — в Алма-Ате). Передают тебе всяческие приветы, просят адрес, но я сама еще не знаю...

Ну, Тимурка, надо закругляться.

Желаю тебе успеха в твоей работе. Я уверена, что ты будешь хорошим летчиком. Вот только спокойствия и хладнокровия бы тебе побольше.

Целую тебя. Пиши, как только сможешь. Таня.

P. S. Только что получила твое письмо еще от 30 декабря (а все равно очень-очень приятно)».

Тимур еще раз перечитал письмо, потом расправил уголки, вложил в конверт и спрятал под подушку. Шутов, улыбаясь, спросил:

— От девушки?

— Да, от сестренки.

— Тоже неплохо. А у тебя есть девушка?

— Когда учился в средней школе, была одна. Мы с ней гуляли, ходили в кино. Раза три подряд смотрели «Чапаева» и «Мы из Кронштадта». Нам очень хотелось быть похожими на героев гражданской войны. Но это была просто школьная дружба.— Тимур махнул рукой.— Все это в прошлом. Да и несерьезно. А у тебя, Ваня?

— Есть, конечно, землячка.

Шутов достал из кармана гимнастерки конверт, вынул фотографию и протянул Тимуру.

— Ну как? — Глаза Шутова загорелись мягким светом.

— Хороша!

— Кончится война — поженимся,— мечтательно произнес Шутов, снова пряча в карман снимок. Вдруг, помрачнев, добавил:

— Что-то стала редко писать.

— Ты даже не думай ничего плохого, Ваня! Почта, сам понимаешь, полевая. В дороге письма блуждают. Обязательно дождется она тебя, твоя землячка. Иначе и быть не может!

3

Горячие дни наступили под Старой Руссой. Заполненные боями, они слились у Тимура в один, без конца растянувшийся день, а все полеты — в один большой полет, которому он отдавал всего себя. Сознание того, что наступление советских войск

продолжается, радовало Тимура, поднимало настроение, которое нужно воину в бою так же, как горячая кровь в жилах.

Немецкое командование понимало, какую угрозу представляет наступление Красной Армии для всей группировки «Север». Из оккупированных стран — Франции, Норвегии — и самой Германии спешно перебрасывались против войск Северо-Западного фронта новые части, боевая техника.

Самолеты противника проносились в небе, исчезали ненадолго, чтобы вскоре появиться вновь. Особенно усердствовали бомбардировщики. Они настигали наши войска на марше, сбрасывали бомбы на поле боя, бомбили переправы, стремясь сдержать и ослабить наступательный порыв советских воинов.

Порой летчикам полка Московца приходилось так часто прикрывать наземные войска, что день казался Тимуру непрерывным боем. Не успеешь вернуться на аэродром, заправиться горючим, боеприпасами, проверить машину, сбегать на десяток минут в столовую, как снова команда:

— На вылет!

А закончив летный день, надо было еще помогать техникам и механикам подготовлять машины к новым полетам. Лопатами расчищали рулежные дорожки, полосы для взлета. Не пугали ни холод, ни жестокий, пронизывающий насквозь ветер. Главная забота — чтобы самолет был исправен, чтобы он мог вовремя взлететь по тревоге.

Вскоре, после того как Фрунзе сбил «хеншель», группа Яков встретилась на поле боя с шестнадцатью «юнкерсами», летевшими бомбить наш передний край. Их прикрывали истребители.

Группу возглавлял комэск Кулаков. В нее входил и Фрунзе. Московец не возражал: у Тимура это был уже девятый боевой вылет.

День был ясный, но легкая дымка затянула землю. И с большой высоты она казалась похожей на огромную снежную скатерть, окаймленную лесом и продырявленную грязными воронками, изрезанную кривыми линиями траншей.

Еще приближаясь к линии фронта, командир эскадрильи передал своим летчикам по радио приказ: одной части истребителей отвлечь на себя «мессеров», а другой — атаковать в это время бомбардировщики.

Шутову и Фрунзе предстояло напасть на «юнкерсы». Шутов дал полный газ и ринулся на ближайшего бомбардировщика. Первой же пулеметной очередью он поразил вражеский самолет. Тот закачался, потом начал вращаться и, забирая влево, сорвался в штопор.

Слева загорелся еще один бомбардировщик. Тимур кинул взгляд, быстро прочел цифру на Яке, атаковавшем «юнкерса»: «Десятка»! «Работа Баталова. Молодец, Сережка!»

Через минуту вырвался черный клубок дыма из третьего

«юнкерса». Летчик Когтев, подбивший его, тут же ушел вверх.

Шутов нацелился на правофлангового бомбардировщика. Среди рева и грохота боя Тимур разобрал свои позывные:

— «Седьмой»! «Седьмой»! Атакую справа!

Командир звена набрал высоту и спикировал сверху на «юнкерса», открыв огонь из пулеметов и пушек. Стрелка высотомера еще никогда не вращалась на его машине так быстро. Тимур не отставал от Шутова и, не убирая палец с гашетки, посылал в бомбардировщика длинные очереди. Но вражеский самолет продолжал почему-то лететь. Тогда Шутов сменил позицию и ударил по врагу с короткой дистанции снизу, сзади.

Яки, атаковавшие бомбардировщиков, уже были далеко. Монотонно гудел в самолете Фрунзе мотор, попискивал в шлемофоне морзянкой эфир. Вслушиваясь, Тимур вдруг узнал голос Шутова:

— «Седьмой»! Угодил в «лапотник»! (так наши летчики величали немецкий бомбардировщик Ю-87).

Фрунзе повернул голову туда, где все еще виднелся только что атакованный ими «юнкерс». С каждой секундой движение его замедлялось. Вдруг самолет рванулся по вертикали вниз...

— «Седьмой»! Берегись сверху! — предупредил Шутов.

На Як Фрунзе спикировал фашистский истребитель. Он норовил зайти самолету в хвост, но Тимур, сообразив, ввел машину в крутой вираж. «Мессер», догоняя его и торопясь, дал очередь из пушки, но промахнулся. Снаряды пролетели совсем близко.

Следующая очередь могла бы стать для Тимура гибельной, если бы не Шутов. Он сделал боевой разворот и неожиданно повис над вражеской машиной, сорвав атаку.

Две меткие пушечные очереди Яка — и из мотора «мессера» вырвалось пламя...

Баталов с ходу атаковал один «юнкерс», но неудачно. Огорченный, он повторил атаку сверху, но в этот момент два «мессера» прикрыли бомбардировщик. Баталов не растерялся. Метким пушечным выстрелом он поджег один «мессер», но второй проскочил и зашел Яку в хвост. Пулеметная очередь — самолет Баталова перевернулся, спикировал и скрылся где-то за далеким лесом.

Наши летчики добились главного — бомбежка наземных войск была и в этот раз сорвана. «Юнкерсы», сбросив бомбы где попало, повернули обратно.

Когда комэск доложил командиру полка о результатах боя и потерях, Московец грустно сказал застуженным голосом:

— Смелый был летчик! Ах, Сергей!

Он хотел что-то добавить, но, махнув рукой, отошел с опущенной головой в сторону.

А вечером из штаба дивизии позвонили, что Баталов приземлил подбитый самолет на лесной поляне и собирается на

свой аэродром. Не прошло после звонка и часа, как в небе показался самолет, медленно приближавшийся к аэродрому.

Машина шла на посадку, вздрагивая и покачиваясь. Когда очутилась низко над землей, стала продвигаться вперед рывками. Коснувшись земли, самолет пробежал совсем немного и остановился. Лопасти винта тут же замерли.

Кулаков подбежал к машине.

— Что случилось, Сережка? Ты ранен?

— Нет, я целехонек. А вот у машины повреждено крыло. Забарахлил мотор. Дотянул на последнем дыхании.

— Молодчина! Крыло залатаем. Главное — ты жив! Жив!

Самолет окружили летчики. Они разглядывали пробоины.

— Ай да Сережка!— восторгался Когтев.— Надо же так посадить машину.

— Стало быть, умеет,— сказал, улыбаясь, капитан Кулаков. У него поднялось настроение — теперь можно было доложить, что потерь нет. На аэродром вернулись все восемь самолетов.

4

В этот день Шутов и Тимур легли спать поздно. По дороге из столовой их перехватили летчики второй эскадрильи и затащили в свою землянку.

Старший лейтенант Пучков — высокий, с простоватой улыбкой и безмятежным лицом, протянул Шутову гитару.

— Сыграй, Ваня! Прошу тебя!

Голубые глаза его смотрели так умоляюще, что трудно было отказать.

Шутов прошелся по струнам гитары, и землянка наполнилась звучными переборами.

— Может, споем?— предложил он.

— Про что?

— Про Гастелло.

— Давай запевай!

Под крыльями бой
        На речном берегу.
Фашистские танки. Пехота.
Взвились «мессершмитты»,
        И он по врагу
Ударил из всех пулеметов.

Поначалу чуть слышно, потом все сильней и сильней зазвучал голос Шутова. В песню влились голоса других летчиков.

Уже загорелся один «мессершмитт»,
К другому — крутым разворотом.
Но что это?
Вражьей зениткой разбит
Бензиновый бак самолета.

Тимуру казалось, что Иван, весь отдавшийся песне, ничего вокруг не видит, а только слышит звуки гитары и свой голос, уже совсем окрепший и звучавший высоко.

Нет, враг просчитался.
Есть выход один,
И только один, у Гастелло:
Вниз!
К вражеским танкам,
цистернам,
винтом
На черные вражьи колонны.

Песня лилась и звенела:

И если б он несколько жизней имел,
За Родину отдал бы смело.
И громом неслыханным взрыв прогремел,
И вечною славой Гастелло.

Потом спели «Любимый город».

— Ну, братцы, хватит,— поднялся Шутов.— Кто знает, когда поднимут утром.

Вернувшись к себе, Шутов и Фрунзе разделись и улеглись. Шутов лежал молча, стараясь не ворочаться на своей койке, чтобы дать Тимуру хорошенько выспаться. А тот и не думал засыпать.

Почему-то ему вдруг вспомнилось детство, подмосковная Боровиха — школьником он любил проводить здесь лето. Вокруг — солнце. Мысленно он ясно услышал сейчас зеленый шум деревьев, журчание быстрых ручейков, во множестве сбегающих к реке. И голоса людей — это косари звонко перекликались на том берегу.

Незаметно Тимур уснул. И привиделась ему летная школа. Вот он вернулся из первого своего самостоятельного полета. Ребята — курсанты — поздравляют его с удачей. И тут же он летит с Шутовым на боевое задание. Шутова окружают враги. Тимур стреляет из пулемета, яростно преследует фашистские машины. Вот свалился «юнкерс»... Еще один штопором падает к земле, сильно дымясь. Тимур, довольный, оглядывается — мать честная! Над Шутовым завис «мессер»! Тимур устремляется на выручку. Он спешит предупредить своего командира: «Девятый»! «Девятый»! В это время кто-то больно схватил его за плечо, потряс. Тимур открыл глаза.

— Чего раскричался?— спросил Шутов.

Тимур рассказал ему про сон.

Шутов успокоил его:

— Мало ли что приснится! Спи!

От доброго, окающего говорка командира звена на душе у Тимура посветлело. Но такое состояние длилось недолго.

Предчувствие чего-то необъяснимого снова начало сжимать ему сердце.

— Ваня! — тихо окликнул он Шутова.— Ты веришь в предчувствие?

— Нет. И тебе не советую.

— Спокойной ночи, Ваня,— произнес Тимур, вздыхая.

— Спокойной ночи, Тимур.

Через несколько минут Шутов уже тихо посапывал.

Глава пятая
ОРЛИНЫЙ ПОЛЕТ

День девятнадцатого января 1942 года начался в полку как обычно. После рассвета две группы истребителей отправились на прикрытие наземных войск. Чуть позднее еще две группы улетали сопровождать штурмовиков. Кроме летчиков, патрулировавших аэродром, в резерве остались только две пары: Кулаков и ведомый Гвоздев, Шутов и ведомый Фрунзе.

В одиннадцать часов сорок восемь минут Московец получил приказ выслать дополнительную группу истребителей на прикрытие переправы частей, наступавших через реку Ловать в районе Парфино.

Шутов вбежал в землянку.

— Тимур, на вылет!

Через несколько минут ведомый уже стоял, вытянувшись, перед своим командиром. На ремне — пистолет в кобуре. За голенищем — сложенная карта.

На аэродроме бушевал холодный колючий ветер. Со всего размаха он набрасывался на самолеты, готовый свалить с ног людей, которые возились возле машин.

Шутов и Фрунзе зашагали к капонирам. Проверив на своем самолете вооружение, Тимур доложил:

— Все готово!

Шутов, всегда спокойный и уравновешенный, ответил:

— Раз готово, значит, можно взлетать.

Прозвучала команда:

— К запуску!

И тут начались злоключения.

У самолета комэска Кулакова на прогреве отказал мотор. Запасной машины с прогретым мотором не оказалось. Кулаков взлететь не смог. Его ведомый Гвоздев стал выруливать на старт, но не выдержал направление и, боясь врезаться в капонир, прекратил взлет. Возле командного пункта нервничали командир и комиссар полка. Московец то и дело поглядывал на часы. Время бежит, а никто еще не поднялся в воздух. Он понимал, что срывается боевое задание. Ох как ему не хотелось отправлять оставшуюся в резерве последнюю пару!

Тем временем Тимур нажимал на своего командира:

— Давай, Иван, полетим.

Шутов посмотрел в сторону командного пункта.

— Пусть начальство решает. Могут нас и не пустить. Мы — последний резерв.

С минуты на минуту должен был появиться начальник штаба майор Егоров, побежавший звонить в штаб дивизии. Вот он наконец вышел из землянки и кинулся к командиру и комиссару:

— Комдив приказал: вылететь хотя бы одной паре.

— Понятно, — с грустью вздохнул командир полка.

Сигнал белой ракеты...

Вместо четверки, подняв за хвостом снежную бурю, выскочили на поле только два истребителя и, не останавливаясь, пошли на взлет. Вскоре они исчезли в густой пелене.

Яки удачно подгадали: они выскочили из-за облаков как раз в тот момент, когда «юнкерсы» делали первый заход для бомбежки переправы. Бомбардировщики шли сомкнутым строем.

— Пять... Десять... Двадцать... Тридцать! — считал про себя Шутов и крикнул в микрофон: — «Седьмой», слышишь? Их тридцать!

— «Девятка», я тебя слышу. Не многовато ли?

— Ничего не поделаешь. Надо драться!

«Юнкерсы», заметив в воздухе советских истребителей, продолжали заходить на цель. Гитлеровцы были уверены, что при таком неравенстве сил Яки не решатся на них напасть.

И Шутову, и Фрунзе было ясно, что бой предстоит тяжелый. Что ни говори, а фашистских машин в пятнадцать раз больше. Боевой опыт подсказывал Шутову, что в сложившейся обстановке надо действовать мгновенно: дерзкой атакой сбить или подбить хотя бы один вражеский самолет.

— «Седьмой»! За мной! — прозвучала в наушниках шлемофона команда. — И следи за воздухом! Я атакую.

Тимур успел взглянуть направо. Где-то вдалеке кружились в небе вражеские истребители. «Пока они не опасны».

Шутов сблизился с крайним справа «юнкерсом» и разрядил в него свои пулеметы. То же сделал и Тимур, следя за ведущим. И тут же оба ушли вверх. Неимоверная тяжесть придавила Тимура к сиденью, в глазах почернело. Но это длилось недолго. Зато такой прием помог уйти от огня и получить преимущество в высоте.

Шутов был все время настороже: не такие фашисты храбрецы, чтобы летать без прикрытия. Скоро, наверное, появятся истребители. Но пока их нет, надо торопиться.

— «Седьмой»! Атакую левого крайнего! — опять услышал Тимур в наушниках. — Будь осторожен!

Командир звена выбрал для атаки превосходную позицию.

3*

Его машина и самолет Фрунзе свалились на «юнкерса», не дав его пилоту даже опомниться. С двух длинных очередей они подожгли его. И опять ушли вверх. Через минуту Шутов развернул Як со снижением на сто восемьдесят градусов и, дав полный газ, повел самолет со стороны солнца прямо на флагман группы, в ее центр. Гитлеровец, увидя стремительно надвигавшуюся на него машину, не выдержал, вильнул в сторону и попал под пушечную очередь Тимура.

— «Седьмой»! «Седьмой»! Внимательно следи за воздухом! — снова услышал Тимур голос командира.

— Я слежу. Истребители приближаются.

Шутов резко повернулся, глянул вниз. Почти на бреющем полете пара за парой спешила к месту боя четверка «мессершмиттов». Шутов сразу определил их тип: Ме-109Ф. Последняя модель.

— «Седьмой»! Иду в атаку! Не отрывайся!

И вот с бешеной скоростью два Яка мчатся навстречу двум «мессершмиттам».

В самый последний миг немецкий истребитель, обстрелянный Яками из пулеметов и пушек, сделал резкий рывок в сторону и стал набирать высоту.

— Эх, черт, увильнул! — огорчился Тимур и послал вдогонку еще одну пулеметную очередь.

Но не прошло и несколько секунд, как самолет с крестом на фюзеляже вдруг задымил, повернулся через крыло, спикировал по наклонной в сторону леса и скрылся за вершинами деревьев. Где-то гулко ухнуло, и в небе потянулся столб огня и дыма.

— «Мессер» клюнулся! — обрадованно крикнул командир звена в микрофон.

Удачной атакой Шутову удалось сбить еще один фашистский истребитель.

— «Девятка», поздравляю! — воскликнул Фрунзе. — Я уверен, что это не последний.

— «Седьмой», будь начеку! К фрицам идет пополнение. Звено Ме-115. Эти еще опаснее.

Фашистских машин опять стало больше: пять против двух. Одна атака гитлеровцев сменялась другой. «Мессершмитты» набросились на самолеты Шутова и Фрунзе, выскочив из-за облаков, и разъединили их. Яки вынуждены были теперь биться против врага в одиночку.

Впервые Тимур оказался в бою один-одинешенек. Рядом всегда был Шутов. С таким опытным ведущим чувствуешь себя сильнее, увереннее. «Сейчас я прорвусь к Шутову во что бы то ни стало!»

Вдруг Тимур увидел, как самолет Шутова вздрогнул и начал сваливаться на крыле. И в этот момент Тимур услышал по радио свой позывной и слабый голос ведущего:

— Иду на вынужденную. Прикрой меня, Тим.

Тимур оглянулся, и по спине его пробежал холодок. Самолет Шутова, сбитый противником, падая, тащил за собой черный хвост дыма. Но вот от машины отделилась фигурка, и через несколько мгновений забелел купол парашюта.

— Давай, Ваня, жми! — возбужденно кричал во весь голос Тимур, как будто Шутов мог его услышать. — Я прикрою.

Фашистский истребитель бросился к Шутову, чтобы расстрелять его в воздухе. Тогда самолет Фрунзе развернулся и стремительно понесся к «мессеру». Тимур приник к прицелу. Главное, не промахнуться! Вот «мессер» уже совсем близко. Рядом! Пора!!

Тимур дал с близкой дистанции длинную очередь из пулеметов и пушки. «Мессер» перевернулся и отвесно пошел вниз.

Пока Як вел бой с «мессером», Шутов опустился на парашюте на нашей территории, вблизи от переднего края.

Тимур, только что спасший жизнь своему командиру, продолжал сражаться. Один против четырех.

Вражеские истребители без конца атаковали Як, но он яростно огрызался огнем. А один раз, выводя свою машину из пике, Тимур неожиданно круто полез вверх и, подловив в перекрестие прицела вражеский самолет, полоснул из пушки и пулеметов. Фашист осел и, охваченный пламенем, стал стремительно падать.

Оставшаяся тройка «мессеров» намеревалась снова атаковать Тимура. Он дал по ним несколько длинных, одну короткую и вдруг замолк.

— Стреляй же! Стреляй! Чего же ты?! — вырвалось с отчаянием у тех, кто наблюдал последние минуты боя, разгоревшегося в небе над деревней Балагиха.

Но огня больше не было. Кончились боеприпасы.

Тимур уже ринулся на вражеские машины, но в эти же секунды «мессер», висевший на его хвосте, почти в упор выстрелил из пушки.

...Сбитый Як некоторое время шел по прямой, потом резко спикировал. Машина падала. С неотвратимой быстротой надвигалась земля. Теперь Тимур думал только об одном: быстрее вывести машину из пике. В ушах у него нарастала боль. С каждой секундой она становилась нестерпимей. Пот нависал на бровях, ел глаза.

В какой-нибудь полусотне метров от земли Тимуру удалось наконец выровнять машину. У него еще хватило сил и выдержки довести горящий самолет до расположения наших войск.

...К месту посадки сбегались люди.

В том месте, где сел самолет, снег сразу потемнел. Вокруг валялись обломки плоскостей, обгоревшего хвостового оперения. Середина кабины осталась цела. Летчик, привязанный ремнями, сидел, чуть наклонившись вперед, уткнувшись го-

ловой в приборную доску, будто спал. Лицо было залито кровью.

Майор Простосердов осторожно расстегнул молнию летной куртки и вынул из кармана гимнастерки сломанный карандаш и комсомольский билет, щедро обагренный еще теплой кровью.

Поздно вечером Шутов перешагнул порог комнаты, включил свет, постоял, озираясь, бросил короткий взгляд на пустую койку Тимура. Тяжело ступая, он прошел к окну, вернулся, машинально открыл тумбочку, где аккуратной стопкой лежали тетради и письма Фрунзе. Он достал записную книжку и начал перелистывать страницы.

Вперемежку с адресами, заметками о прочитанных книгах были фразы, написанные на немецком, французском языках.

Так же убористо и четко писал он на своем родном, русском. В книжке были собраны изречения о цели и смысле жизни.

«Если человек трудится только для себя, он может, пожалуй, стать знаменитым ученым, великим мудрецом, превосходным поэтом, но никогда не сможет стать истинно совершенным и великим человеком».

«История признает тех людей великими, которые, трудясь для общей цели, сами становились благороднее; опыт превозносит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей» (Карл Маркс, когда ему было 17 лет).

«Я не знаю, хватит ли у меня сил осуществить то, что я задумал. Но я знаю, к чему стремлюсь» (Дж. Верди).

«В чем смысл жизни? В том, чтобы не иметь забот о питании, одежде и жилье? В том, чтобы хорошо трудиться и приносить пользу другим? Любить и быть любимым? Совершить подвиг?..»

«Для меня стал совершенно ясен «смысл жизни»: служение народу, борьба за его лучшую долю» (В. Д. Бонч-Бруевич).

Так вот что занимало его ум, волновало душу! Записи носили след совершенно определенного отбора.

«Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!» (Гёте).

Это была последняя запись. Дальше шли чистые страницы.

Тимур открылся сейчас Шутову еще более полно и глубоко.

«Вот ты какой был. Мой верный боевой товарищ, мой ведомый, комсомолец Тимур Фрунзе».

В Москве, на Ново-Девичьем кладбище, в тени деревьев высится памятник. На строгом постаменте короткая надпись: «Герой Советского Союза Тимур Михайлович Фрунзе. 1923—1942». А с постамента смотрит на людей юноша, почти мальчик, с благородными чертами лица, с орлиным взглядом.

Он и вправду был орлом, сыном орла.

НИКОЛАЙ КУШТУМ

ПОДВИГ

Повесть



НАКАНУНЕ ЧЕРНЫХ ДНЕЙ

На окраине Киева, в поселке Куреневка, стояла маленькая хата-мазанка, укрывшаяся в глубине вишневого сада. Здесь жил двенадцатилетний Костя Ковальчук вместе с матерью Пелагеей Федоровной. Этой осенью он должен был пойти в шестой класс. Костя мечтал после окончания школы учиться дальше, и обязательно на железнодорожного машиниста.

Отец его был одним из лучших машинистов на дороге. Простудившись во время зимней поездки, он умер от крупозного воспаления легких.

Костя не раз слышал, как отец говорил своему закадычному другу токарю Остапу Охрименко:

— Думаю, в меня пойдет хлопец: машинами все интересуется. Как-то взял его в паровозную будку, так, веришь ли, он чуть не прыгал от радости. Еле выпроводил домой, пристал ко мне: «Возьми с собой».

— Что ж, — согласился Остап, — нехай интересуется. Твоя линия правильная.

Костя был не по годам бойким и смышленым пареньком. После смерти отца, забывая о детских играх, помогал матери по хозяйству. Ведь он уже немаленький, к тому же единственный мужчина в доме. Расцветал от счастья, слушая похвалу матери:

— Помощничек ты мой! Весь в отца, такой же торопкий и смекалистый. Кем-то ты будешь, когда вырастешь?

Но Костя про себя уже решил, кем он будет. Конечно, машинистом. Это же так интересно!

Но теперь, на исходе июля грозного 1941 года, Костя видел, что все дальше и дальше отодвигается исполнение его мечты. Война подступила вплотную к его родному городу. В тихие вечера уже доносился отдаленный гул артиллерийской канонады. Все чаще фашистские летчики совершали разбойничьи налеты, бомбя Киев. По примеру многих, Ковальчукам следовало бы эвакуироваться, но об этом сейчас и думать было нечего. Вот уже вторую неделю матери нездоровилось. Не мог же Костя уехать один.

Накануне прихода фашистов вечером к ним зашел сосед Остап Охрименко. Сбросив с плеч мешок, он присел на краешек кровати.

— Здравствуй, Федоровна. Ну, как ты?

— Плохо, Остап Терентьевич. Никак не могу здоровьем направиться. То полегчает, а то опять скрутит.

— Надо бы вам эвакуироваться, пока не поздно. А то еще, чего доброго, фашисты замордуют вас тут.

— Что же мне делать? — заплакала женщина. — Ведь я и до вокзала не дойду, а не то что в дальнюю дорогу ехать.

— А давайте хоть Костю отправим, — предложил сосед. — Сегодня в ночь как раз эшелон уходит. Я его устрою.

— Ой, хорошо бы! — обрадовалась Пелагея Федоровна.

— Никуда я не поеду,— решительно отказался Костя.— Станет маме полегче, тогда мы, если что, в Камышевку уйдем, к тете. А одну я ее не оставлю.

— Так не поедешь?

— Нет!

— Ну что ж, ты, малец, пожалуй, и прав. Авось как-нибудь обойдется. Я тебе, Федоровна, кое-какой провизии принес. Припрячь. Мне она теперь ни к чему. Сам ухожу, старуха со снохой далеко, куда-то на Урал уехали. А вам сгодится.

— Спасибо, Остап Терентьевич!

— А вы, дядя Остап, тоже эвакуируетесь? — спросил Костя.

— Как тебе сказать? — замялся Охрименко. — Ухожу, хотя, может быть, и недалеко. Ну, соседка, прощай! Выздоравливай скорее.

— Прощай, Остап Терентьевич, прощай. Может, больше и не свидимся.

— Ну, ну, не плачь. Обойдется. Ты, Костя, береги маму, я на тебя надеюсь. А как только ей полегчает, лучше вам на село перебраться. Спокойнее будет! Ну, будьте здоровы!

Костя вышел проводить дядю Остапа. У самой калитки сосед остановился и взял Костю за плечо.

— Давай-ка отойдем в сторонку.

Они сели под деревом на траву. Над садом спустились сумерки. Потемневшее небо изредка прочерчивали лучи прожектора — воздушные сторожа города.

— Вот что, Костя, дай мне, как пионер, слово сохранить в тайне все, что я скажу тебе.

— Честное пионерское!

— Тише, тише, горячка, — усмехнулся Охрименко. — Ну ладно. Такое тебе поручение будет... Считай его как за важное задание. Чуешь?

— Чую.

— Запомни, если зайдет к тебе один человек...

— А какой он из себя будет?

— Не перебивай, — сердито сказал старик. — Я и сам еще не знаю какой... Да это тебе пока и знать не к чему.

— А он ночью, наверно, придет?

— Не днем же, не маленький ты, понимать должен.

— Я так и думал, что ночью, раз дело у него будет тайное,— продолжал Костя. — А я ведь сплю один, в маленькой комнатке.

— Ну и что же? — нетерпеливо спросил Охрименко.

— Я сейчас, сейчас, — заторопился Костя, испугавшись, что Остап уйдет, не дослушав. — И вот в эту комнатку протянута с улицы проволока, а на конце ее я приделал звоночек. Если ре-

бята хотят позвать меня на рыбалку или еще куда, так они за проволоку дернут, звонок тихонько зазвенит, и я выхожу на улицу. Ясно?

— Куда яснее, — засмеялся Охрименко и погладил Костю по голове. — Молодец, пионер. Толково придумал. Ну а теперь слушай. Придет, стало быть, этот человек, вызовет тебя звонком на улицу и спросит: «Не у вас ли остановились богомольцы?» А ты должен ему ответить: «Были, да недавно в Лавру[1] ушли». Он тогда скажет: «Я их подожду». А ты ему: «Пожалуйста, проходите!» После этих слов можешь вполне довериться этому человеку и сделай все, что он тебе скажет. Понял?

— Понял!

— Запомнишь?

— Запомню.

— Ну и ладно. И никому ни слова. Слышишь? Даже матери.

— Хорошо, дядя Остап, все сделаю как надо. Не беспокойтесь.

— Тогда прощай пока!

Охрименко обнял Костю, поцеловал и исчез в темноте.

СБЕРЕГИ ЗНАМЯ!

После тяжелых боев Красная Армия оставила Киев. В город вошли оккупанты. Кругом пылали кварталы. Центральная улица, Крещатик, была превращена в развалины. Сказочно красив был Крещатик в недавние мирные дни. Весь в огнях, в сверкающих рекламах, наполненный ароматом южных цветов, веселой музыкой и многоголосым говором: Крещатик был любимой улицей киевлян. А сейчас здесь сиротливо торчат трубы и лестничные переплеты. На одной из площадей висят трупы с табличкой на груди: «Коммунист». Резкий ветер поднимает красные тучи пыли, по улицам непрерывно рыщут патрули. То и дело слышатся автоматные очереди и грубая чужеземная речь.

В Куреневке разместилась пехотная часть. Фашисты забирали у жителей ценные вещи, резали скот и птицу. Заняли все большие здания, в клубе устроили конюшню. Солдаты выгоняли хозяев из хат в сараи и бани. У Ковальчука, к счастью, никто не поселился,— так мала была их старая хатенка.

Вечером Пелагея Федоровна сказала сыну:

— Костенька, спрячь-ка ты все, что получше, куда-нибудь. А то, неровен час, нагрянут и заберут последнее.

Костя вырыл в огороде яму и спрятал в нее наиболее ценные вещи.

Неожиданно тишину разбудили крики и выстрелы. Стреляли как будто в соседней улице. Затем все стихло.

---

[1] Лавра — монастырь.

И вдруг при слабом свете луны Костя увидел, как какой-то человек перелез через плетень и тяжело упал на землю. Он попытался встать, снова упал и простонал:

— Не могу. Что же делать?

«Русский», — подумал Костя. Пересиливая страх, он осторожно подошел к лежащему. Тот приподнялся.

— Кто? Не подходи — стрелять буду!

— Я, дяденька...

— Ты кто?

— Здешний. Идемте в хату.

— Я тяжело ранен... За мной гонятся... Я командир Красной Армии. А у меня... Эх! Да можно ли тебе довериться-то?

— Честное пионерское, дяденька. Я никому ни слова.

Издалека донеслись голоса. Раненый схватил Костю за руку и торопливо зашептал:

— Со мной знамя полка. Оно не должно попасть в руки врагу... Это будет... большой позор... и несчастье. Спрячь... сбереги.

Совсем близко раздался топот ног. Раненый протянул Косте сверток.

— Беги!

Костя кинулся в хату и спрятал сверток в чуланчике под ящик с картофелем. В огороде в это время послышался громкий говор. Заглушая шум голосов, советский командир крикнул:

— Думаете взять меня? Советские люди не сдаются. Получайте, гады!

Грянул оглушительный взрыв. Затем все стихло. Костя, дрожа, как от озноба, прислонился к стене. Мать с тревогой в голосе спросила:

— Ой, что там такое? Страшно-то как!

Но Костя ничего не успел ответить. Дверь распахнулась, и в хату ворвались гитлеровцы с автоматами наперевес. Один из них выстрелил. Звякнуло разбитое стекло. Мать лишилась сознания.

— Кто есть польшевик?! — заорал долговязый солдат, потрясая автоматом.

— Никого здесь нет, — ответил Костя, щурясь от яркого света фонаря.— Только больная мама.

— А чем она больна?

Низенький пухлый человек взял Костю за руку и устремил на него пронзительные глазки.

— Не знаю. Говорят, тиф, — пробормотал Костя.

Толстяк что-то быстро сказал солдатам. Те поспешно отошли от кровати.

— А здесь что? — и толстяк ударом ноги открыл дверь чуланчика.

Костя замер: «Сейчас найдут знамя, и конец».

— Ничего нет, — сказал толстяк, выходя из чуланчика. Ми-

моходом он взял со стола будильник, повертел его в руках и сунул в карман.

— Пошли! — махнул он рукой.

Хата опустела.

Начинало светать. Костя так и не прилег в эту ночь — он мучительно думал об одном: куда бы получше спрятать знамя? Ведь он же дал клятву герою-командиру. А вдруг знамя найдут? Что он скажет нашим, когда они вернутся? Хотел посоветоваться с матерью, но вспомнил строгий наказ командира — никому ни слова!

Вынув сверток из-под ящика, Костя бережно развернул его. Солнце пробивалось сквозь щели чулана. Словно огонь вспыхнул — так ярко сияло знамя, знамя, доверенное ему, пионеру Косте.

За окном послышалась незнакомая речь: фашисты! Костя заметался по чулану в поисках укромного уголка. Наконец, спрятал знамя за доски обшивки. Голоса смолкли. Костя выглянул на улицу. Гитлеровцы вошли в хату Охрименко. Минут через десять они появились, нагруженные узлами. Один из них — тот самый долговязый, что ночью стрелял в хате, — на вытянутых руках нес большой пузатый самовар, медленно вышагивая длинными ногами, чтобы не споткнуться и не упасть. У второго в руках — гусь со свернутой шеей, на третьем поверх мундира—новое пальто Охрименко, купленное им зимой ко дню рождения.

Костя с ненавистью смотрел им вслед.

А в ушах неотступно звучал наказ командира:

— Спрячь... сбереги знамя!

НОЧНОЙ ГОСТЬ

Вечером Костя решил попытаться спрятать знамя где-нибудь в лесу. Он старательно свернул его и уложил в заплечный холщовый мешок.

Для отвода глаз взял кнут и кошелку. «Если станут спрашивать, скажу, что ищу корову», — думал он.

Сначала все шло хорошо. Ему удалось незаметно выйти из огорода и сквозь кустарники пробраться к оврагу. Этот широкий и глубокий овраг тянулся до самого леса. Не раз Костя с товарищами играл в нем, подражая смелым разведчикам, выслеживал воображаемых врагов. Здесь ему были знакомы каждый куст, каждая тропинка. Но едва он вылез из оврага на опушку леса, как вдруг раздался грозный окрик:

— Хальт!

Дорогу Косте преградил огромный рыжий солдат с автоматом.

— Дяденька, пустите. Я корову ищу. Где-то в лесу потерялась..

Солдат заулыбался.

— Корофф! Зер гут! Млеко. Шпиг. И, айн минутен, пиф-паф! — Он выстрелил в воздух и оглушительно захохотал. А затем стал подталкивать Костю автоматом, повторяя:

— Шнелль, малшик, шнелль! Шпиг! Пиф-паф!

Костя понял, что гитлеровец хочет вместе с ним искать несуществующую корову в надежде поживиться молоком и мясом. «Как же теперь быть? — размышлял Костя, идя по лесу.— А что если он вздумает обыскать меня? Надо бежать!» Шаг за шагом они углублялись в низину, поросшую густым, непроходимым кустарником. И тут Костя сообразил, что ему делать. С криком «Вот она! Вот она!» он ринулся в глубину чащи. Солдат бросился было за ним, но запнулся и растянулся во весь свой огромный рост, уткнувшись лицом в зеленую, заплесневелую болотную тину. Пока он, отплевываясь и чертыхаясь, выбирался из кустов, Костя уже был далеко.

В бессильной ярости фашист начал палить из автомата в том направлении, куда убежал Костя, но, конечно, бесполезно. А Костя кружным путем вернулся домой, огорченный неудачей. Снова пришлось прятать знамя в чулане. А это, он понимал, — убежище ненадежное.

Ночью, после пережитых волнений, Костя крепко заснул. Ему снилось, что он идет по густому лесу неизвестно зачем, но по очень важному делу. А впереди верхом на пестрой корове едет рыжий солдат с автоматом и все время покрикивает:

— Шнелль, швайн малшик! Шнелль!

На шее у коровы привязан колокольчик. Как только она споткнется или наклонится, раздается тонкий, дребезжащий звон.

Костя проснулся. Он явственно услышал тихий звонок. «Ведь это же звонят. Ко мне», — подумал он. Накинул пиджак и вышел из хаты. По ту сторону сада кто-то негромко кашлянул. Костя приоткрыл калитку и выглянул на улицу. В небе тускло светила луна. Возле хаты, плотно прижавшись к изгороди, кто-то стоял. Приглядевшись, мальчик ахнул от удивления: «Да ведь это же наш учитель географии!»

— Здравствуйте, Назар Степанович! — радостно проговорил Костя и сделал шаг к нему.

Но тот, будто не узнавая Костю, остановил его легким движением руки и негромко спросил, не отходя от изгороди:

— Скажите, не у вас ли остановились богомольцы?

— Какие бого... — начал было Костя, но тут же осекся. Он вспомнил наказ Остапа Охрименко и после минутной паузы ответил:

— Были, да недавно в Лавру ушли.

— Я их подожду.

— Пожалуйста, проходите.

Назар Степанович молча последовал за Костей.

Это был высокий старик в зеленой шляпе и сером плаще.

Когда они углубились подальше в кусты, он остановился и пожал мальчику руку.

— Ну вот, теперь здравствуй, Костенька!

— Назар Степанович, да как же...

— А вот так. Вопросов не задавай, это мое, учительское дело спрашивать. Ближе к делу. Есть тебе задание. Готов его выполнить?

— Всегда готов!

— Так вот. Завтра пойдешь в Камышевку. Дорогу туда знаешь?

— Знаю. Там наша тетя живет.

— Так вот... Разыщи там кузнеца Панаса Карповича. Его там все знают.

— Да я сам его хорошо знаю.

— Опять хорошо, — обрадовался Назар Степанович. — Тогда постарайся незаметно шепнуть ему всего лишь четыре слова: «Дядя приглашает на вареники».

— И все? — разочарованно спросил Костя.

— Все... Не думай, что это пустяки. Понятно?

— Понятно, Назар Степанович.

— А коли понятно, тогда будь здоров!

И Назар Степанович неспешной стариковской походкой ушел, кивнув Косте на прощание.

Утром за завтраком Костя сказал матери:

— Мама, я сегодня хочу сходить в Камышевку.

— Зачем это? — удивилась Пелагея Федоровна. — Да еще в такое время.

— Потом еще хуже будет. Я думаю, пока не поздно, надо купить там кое-что из продуктов. Оставить их можно на время там же, у тети. Как ты думаешь?

— Может, оно и так, — заколебалась мать. — Только боюсь я за тебя.

— Не бойся. Что мне сделают? Скажу, что иду к тете, и все тут.

— Ну, смотри, — со вздохом согласилась мать. — Ты ведь в доме давно уже за большака, — она вытерла концом платка набежавшие слезы.

Пелагея Федоровна уже привыкла смотреть на сына, почти как на взрослого, как на своего незаменимого помощника и опору. Сын платил ей за это нежной любовью и заботой.

Ему очень хотелось откровенно рассказать матери, зачем на самом деле он идет в село, но Костя все же сдержался. Ведь это была не только его тайна. И недаром же дядя Остап наказывал ему держать язык за зубами. Вот и о знамени он тоже не имеет права рассказывать.

Когда Костя пошел в Камышевку, на окраине его остановил поселковый полицай.

— Куда, мальчик, идешь?

— В Камышевку, к тете.

— Вот хорошо! Снеси-ка письмо тамошнему старосте. А то у меня других дел много. Да смотри не потеряй.

— Ладно, — обрадовался Костя. Ему такое поручение было кстати. С письмом полицая его никто не задержит.

Придя в Камышевку, он первым делом вручил старосте письмо, а потом явился к тете. Когда же стемнело, направился к кузнецу Панасу Карповичу.

Тот встретил его сначала недоверчиво и даже неприязненно. Ему уже сказали, что Костя передал какое-то письмо старосте, и это насторожило кузнеца.

Но мальчик, улучив минуту, когда поблизости никого не было, шепнул ему четыре условных слова:

— Дядя приглашает на вареники.

— Ладно, — буркнул кузнец и скупо улыбнулся.

Костя вернулся домой, гордый и радостный. Шутка ли, он помогает бороться с фашистами, он выполнил первое важное задание.

ТАЙНИК

Стояла ясная, погожая осень. Под ногами шуршали золотые листья, по утрам уже подмораживало. Чувствовалось скорое приближение зимы.

Нынче школы в Киеве не открылись. На улицах не звенели детские голоса, не видно было веселых и шумных стаек детворы. Не распахивались больше гостеприимные двери, не вызывали к доске строгие, но справедливые педагоги. Фашисты чувствовали себя в городе полными хозяевами. Если судить по их самодовольным лицам, по гордой походке, можно было подумать, что они здесь обосновались прочно и надолго. Костя не верил этому. Он помнил прощальные слова старого Остапа Охрименко:

— Не горюйте. Мы еще вернемся!

Но Красная Армия отступила далеко на восток, где вела упорные оборонительные бои, партизаны скрывались где-то в лесах, а здесь на каждом шагу только и встречались ненавистные подлые завоеватели.

Однажды в воскресное утро мать послала Костю продать отцовское зимнее пальто и купить чего-нибудь съестного. С продовольствием в городе становилось все хуже и хуже.

На Центральном рынке было многолюдно. Бойко торговали ларьки и лавки откуда-то появившихся частников. Повсюду шныряли полицаи, шпики и гестаповцы, высматривая и выслеживая подозрительных. То тут, то там то и дело возникали перебранки и настоящие свалки. Раздавались пронзительные

свистки, а иногда выстрелы. Вот мимо Кости провели рабочего со скрученными назад руками.

— Господи, боже ты мой, — прошептала стоящая рядом старушка. — Опять повели. И когда только конец этому будет?

— Что ты сказала? — грозно спросил ее незаметно подошедший полицай. — Чем недовольна?

— Да ничего я, мил человек, не говорю, — испуганно пролепетала старушка. — Рукавички вот продаю, сама связала.

И она поспешно юркнула в толпу.

Костя долго ходил по рынку, тщетно стараясь продать пальто. Продавцов было больше, чем покупателей. Дешево, за смехотворно низкую цену, какую ему предлагали, отдавать не хотелось. «Похожу еще часок, может, все-таки продам», — утешал он себя.

— Сколько просите за пальтецо?

Костя обернулся. Перед ним в неизменном плаще и шляпе стоял учитель Назар Степанович. Беря у Кости из рук пальто, старик тихо шепнул:

— Жди сегодня богомольцев.

Тщательно, с видом завзятого покупателя он рассматривал пальто, а затем, возвращая его, сказал с притворным вздохом:

— Нет, не годится. И цена неподходящая, и пальтецо мне не по росту.

— А сколько он запрашивает? — спросил высоченный мужчина, явный перекупщик.

Он выхватил у Кости пальто, небрежно осмотрел его и снова спросил:

— Сколько?

Назар Степанович тем временем уже исчез в толпе. А Костя, взволнованный неожиданной встречей, не стал особенно запрашивать и, сбавив чуть не половину намеченной цены, быстро продал пальто перекупщику и поспешил домой.

Матери дома не оказалось. Соседка на его расспросы сообщила:

— Мать велела тебе одному тут хозяйновать. Она денька на три в Камышевку отлучилась. Сестра за ней оттуда приходила, просила помочь ей по хозяйству управиться. Картошку перебрать, капусту засолить и еще что-то. Ты, хлопчик, не беспокойся, я за тобой пригляжу.

«Вот и хорошо», — подумал Костя, а вслух сказал:

— Что за мной глядеть, я и сам немаленький.

Глубокой ночью раздался тихий звонок. Костя на этот раз не спал, ожидая Назара Степановича. Он быстро выскочил в садик и приоткрыл калитку. Возле нее стоял неизвестный человек высокого роста. Костя в нерешительности сделал шаг назад.

— Скажи, мальчик, — тихо заговорил незнакомец, — не у вас ли остановились богомольцы?

«Свой», — подумал Костя и так же тихо ответил:

— Были, да недавно в Лавру ушли.

— Я их подожду.

— Пожалуйста, проходите.

Костя провел незнакомца в свою каморку. Он хотел зажечь коптилку, но незнакомец запротестовал:

— Не надо. Без огня спокойнее. А разве к вам никто сегодня не приходил?

— Нет, вы первый.

— Так...—задумчиво протянул незнакомец.—Вот что, пойдика ты на улицу и покарауль. Тут один человек должен подойти. Очень он мне нужен. А если что подозрительное заметишь, позвони. Тут есть другой выход?

— Есть. Через огород к оврагу.

— Хорошо. Иди!

Почти час простоял Костя на улице. Поселок окутал густой туман. Было сыро и прохладно. Костя хотел было вернуться в хату, чтобы одеться потеплее, но в это время увидел торопливо подходившего к хате человека. Испуганный мальчик хотел было уже дернуть проволоку, но услышал прерывистый шепот:

— Костя? Ты?

Это был Назар Степанович. Он тяжело дышал, держась за сердце. Против обыкновения, даже не обменялся условным паролем, а быстро вошел в ограду.

— Гость у вас?

— У нас.

— А мать дома?

— Нет, она в Камышевке, у тети.

— Вызови гостя сюда, да скорее.

Назар Степанович беспокойно озирался по сторонам. Видно было, что он чего-то опасался. Костя быстро привел незнакомца.

— Беда! — тревожно заговорил старый учитель. — Явка на Голосеевке провалилась. Я чудом спасся. Взяли Фому и Почтаря.

— Что же делать?

— Только без паники! — строго оборвал старик. — В Камышевку тебе сейчас идти нельзя. Опасно, да и другие дела тебе предстоят.

— А как же встреча?

— Это моя забота. Дай сюда пакет.

Незнакомец протянул серый конверт.

— А теперь иди. Предупреди наших. Да берегись: в городе идут облавы. Скажешь: сбор в роще, во вторник. Иди, не мешкай.

Незнакомец исчез в тумане. Костю бил озноб. Назар Степанович заметил это и спросил:

— Боязно?

— Нет. Холодно. Пойдемте в хату.

В каморке, не зажигая света, они сели на скамью.

— Слышал, какая беда стряслась? — заговорил учитель. — Конечно, далеко не все пропало, но дело усложнилось. Нам надо верного человека в Камышевку послать, а взрослому сейчас не пройти: везде усиленные патрули выставлены.

— А если я? — несмело предложил Костя.

— Вот и я то же думаю, что ты бы легче прошел. Какой с тебя спрос? Иду, мол, к тете — и весь сказ тут.

— Я так и скажу.

— А не побоишься?

— Нет, Назар Степанович, не побоюсь. Сейчас идти или как?

— Нет, не сейчас, а днем. В том-то вся и штука. Ночью тебя обязательно задержат, а днем ты не вызовешь подозрений. Завтра после обеда и пойдешь.

— Пакет понесу? Да? — догадался Костя.

— Думал я пакет передать, да теперь это рискованно. На словах передашь, что надо. Только слушай внимательно и запомни.

— Не бойтесь, Назар Степанович, все запомню.

— Так вот. Пойдешь снова к Панасу Карповичу. Там встретишь одного человека и скажешь ему вот что. Первое — оружие для них спрятано в том же лесу у сосны «Три креста». Пусть заберут. Второе — явка провалилась. Людей пока посылать в нашу группу нельзя, известим, когда можно будет. И третье, самое главное, — планы, он знает какие, достали и на днях пришлем в условленное место с верным человеком. Скажи пока только — подземный завод пусть ищут на Зеленой горе.

Костя внимательно слушал, стараясь не пропустить ни слова.

— Запомнил?

— Да.

— А ну, повтори.

Костя слово в слово повторил.

Назар Степанович удовлетворенно кивнул головой и встал со скамьи.

— Я пошел. Будь осторожен, Костенька. И помни: все мы делаем большое дело для Родины. Она этого никогда не забудет. Прощай!

Он поцеловал Костю и быстро ушел.

Мальчик почти не спал эту ночь. Наверное, раз десять, не меньше, повторил все, что ему было велено передать, чтобы лучше запомнить. Под утро неожиданная мысль окончательно отогнала сон: «А как же знамя? Что если без меня придут с обыском и найдут его? А если закопать его в огороде? Положить знамя в отцовский сундучок и... Только вот в каком месте закопать?»

Начинало светать. Часа через два выглянет скупое солнце.

Костя ходил по огороду, выбирая место для тайника. Но все не находил подходящего.

Громкое карканье прервало его раздумье. На срубе колодца, в дальнем углу огорода, сидели две вороны. «Ишь, не спится им», — подумал Костя, и вдруг его словно кто-то подтолкнул. А что если?.. Колодец давно уже пересох, вода из него ушла. Мать собиралась засыпать его, но все не решалась. А вдруг вода снова появится? Охрименко не раз по-ученому доказывал ей, что воды больше не будет, но мать не верила этому. Костя радостно засмеялся. О чем он думал раньше? Ведь это же самый настоящий тайник. Дома никого нет. Значит, можно спокойно и незаметно сделать то, что задумал. Прежде всего он решил осмотреть колодец. Притащив лестницу, примерил ее. Она оказалась в самую пору и даже немного не доставала до верху. Дно, как он и думал, было сухим. Теперь надо выкопать на дне яму и... но тут ему пришла счастливая мысль. Не лучше ли устроить тайник посередине? Ведь если у кого-нибудь и возникнет подозрение, то искать-то станут обязательно на дне колодца.

И Костя принялся за дело. Завесив окно, при тусклом свете ночника достал драгоценное знамя из-за обшивки, развернул и, как бы прощаясь с ним надолго, поцеловал его.

Затем завернул знамя в чистую холстину и уложил сверток в железный ящичек, оставшийся от отца-железнодорожника.

Захватив кирку, лопату и топор, поспешил в огород. Осмотрелся кругом. Никого, тишина. Спустился по лестнице до середины колодца, отодрал доску обшивки и начал выкапывать боковой тайник. Глина поддавалась легко. Не прошло и часа, как углубление было готово. Костя втиснул туда заветный ящик. Приколотил обратно ту же старую доску — и дело сделано. Теперь знамя будет лежать в надежном месте. Вряд ли кому придет в голову искать его здесь. Свежую глину Костя тщательно собрал в ведро и закопал в огороде. А в полдень отправился в Камышевку выполнять задание старого учителя.

СТРАШНАЯ ВЕСТЬ

Как и предполагал Назар Степанович, Косте без труда удалось под вечер пробраться в Камышевку. Патрульный на окраине Куреневки спросил его только, куда и зачем он идет, дал подзатыльник и отпустил. И в самом деле, в чем он мог заподозрить мальчика в рваном пальто, так жалобно просившего пропустить его к больной матери?

Мать и обрадовалась и встревожилась, увидев сына.

— Ты зачем? Все ли у нас дома ладно?

— Все в порядке. Хату я закрыл на замок. Скучно мне там одному. Я тут с тобой поживу. Может, помогу чем.

— Пусть поживет, — приветливо сказала тетя Матрена Федоровна. — Одному, конечно, там жутковато.

В этот вечер, чтобы не вызвать подозрений, Костя не пошел выполнять поручение. А с утра принялся помогать по хозяйству. Подмел во дворе, наколол дров. Словом, провел весь день в хлопотах. После обеда тетя, словно угадав его желание, попросила:

— Сходи-ка, Костенька, к кузнецу. Чайник возьми у него, починил он его уж, наверно. Неделя, как отдала.

Костя тут же, не мешкая, пошел к Панасу Карповичу. В кузнице никого, кроме хозяина, не было. Кузнец, весь черный от сажи и копоти, возился у горна.

Костя окликнул его:

— Дяденька Панас, тетя меня за чайником послала. Готов он?

— Готов, — ответил Панас Карпович и, понизив голос, спросил:

— По делу пришел?

— Да.

— Чайничек-то готов, — неестественно громко заговорил Панас Карпович, — только он у меня дома лежит. Приходи попозднее, когда я здесь управлюсь.

В дверях кузницы стоял полицай и подозрительно смотрел на Костю.

— Что за мальчик? Откуда?

— А это племянник Матрены Федоровны, — спокойно ответил кузнец. — С матерью он тут.

— А-а, — неопределенно промычал полицай и протянул ему ружье. — Тут вот затвор поправить надо. Сумеешь?

— Чего не суметь — дело знакомое. Поохотиться собираешься? — спросил Панас Карпович.

— Да, надо кое за кем поохотиться,— усмехнулся полицай,— поправь к завтрему, я зайду.

Поздно вечером Костя пришел к кузнецу. Панас Карпович встретил его во дворе и повел не в хату, а на огород. На недоуменный взгляд Кости буркнул односложно:

— Иди за мной.

В огороде возле плетня притулилась низенькая баня. Панас Карпович легонько подтолкнул Костю, а сам остался снаружи на карауле.

Открыв дверь, Костя в замешательстве остановился на пороге. На лавке возле крохотного оконца сидел... Остап Охрименко.

— Затвори дверь, дует, — ласково сказал старик.

Костя прижался к его широкому плечу. Охрименко крепко обнял мальчика.

— Здравствуй, герой мой милый. Что, соскучился по старому?

— Соскучился, дядя Остап, — тихо ответил Костя, — ой, как хорошо, что вы живые!

— А что мне сделается: я двужильный, — пошутил Охрименко и тут же переменил тон, — ну, сказывай, с чем пришел.

Костя сбивчиво начал пересказывать то, что велел передать Назар Степанович. Старый токарь терпеливо, не перебивая, выслушал, а затем спросил:

— Все?

— Все, дядя Остап.

— Гм, — недовольно крякнул тот. — Как же так? Странно. А он ничего не говорил насчет чертежей... или как бы тебе сказать, планов там всяких?

— Ой, — спохватился Костя, — говорил, говорил. Как же это я забыл? Сейчас вспомню. Ага! Он велел сказать, что планы какие-то они достали и на днях пришлют, куда, вы, говорит, знаете, с надежным человеком. И еще, — Костя раздельно, отчетливо произнес: — Подземный завод, сказал, пусть ищут на Зеленой горе.

— Ну вот это — другое дело, — повеселел Охрименко. — Добре. А то мне без этих слов и возвращаться не велено.

— Дядя Остап, а что, скоро наши обратно придут?

— Скоро не скоро, Костенька, а что выметут фашистов с нашей земли — это уж дело верное.

— Эх, скорей бы, — вздохнул Костя.

— Ну, ничего, потерпи трошки, — он встал, чуть не стукнувшись головой о низкий потолок, и озабоченно сказал:

— Мне пора. Вести ты принес очень важные, и я скоренько должен доставить их куда следует. А тебе, дружок, придется пожить здесь недельку. Жди от меня новостей для городских товарищей. А потом шепнешь их кому надо.

...Больше недели пришлось прожить Косте в деревне у тетки в ожидании новостей от старого Охрименко. Мать уже вернулась в Куреневку, а он все еще ждал. Наконец как-то вечером, улучив удобную минуту, Панас Карпович сказал ему:

— Вертайся до дому. И передай там спасибо за вести. Чуешь?

— Чую, — ответил Костя.

— Ну, бувай здоров. Добрый ты хлопец!

В Куреневке Костю ждала страшная весть. Мать встретила его со слезами.

— Костенька, какая беда-то у нас стряслась.

— Что такое? — испуганно спросил сын.

— Забрали гестапы проклятые человек двадцать и всех повесили. И с ними — боже ты мой, кто бы мог подумать? — сказнили нашего учителя Назара Степановича. Да ведь он в жизни никого не обидел, добрейшей души человек был.

Костя навзрыд заплакал.

А мать, прерывая свой рассказ всхлипываниями, продолжала:

— Утром согнали нас на площадь. А там уже виселицы наготове,— она содрогнулась от страха и жалости.— И вот привели их, сердечных, измученных, избитых, окровавленных. А впереди всех, опираясь на палочку, идет наш Назар Степанович. Стали на него надевать петлю, а он оттолкнул палача и громко так крикнул нам: «Прощайте, люди советские! Не бойтесь злодеев, бейте их без жалости!..» Тут его схватили и... — мать, не закончив свой рассказ забилась в неудержимых рыданиях.

А Костя, словно окаменев, сидел у стола и не замечал, как крупные слезы одна за другой падали на скатерть.

Всю жизнь будет помнить он своего любимого учителя, отдавшего жизнь за Родину. И никогда не уйдут из памяти его слова: «Помни, все мы делаем большое дело для Родины. Она этого никогда не забудет. Прощай!»

— Прощай! — прошептал Костя и поднял руку, как бы давая клятву быть стойким и смелым пионером-ленинцем.

ВЗРЫВ

Февраль 1943 года. Неожиданно над Киевом разразилась сильнейшая снежная буря. На улицах Куреневки намело глубокие сугробы. Костя лопатой расчищал дорожку от хаты до калитки.

Мать ушла с утра на рынок продавать вещи, чтобы купить чего-нибудь съестного. Часа через три она вернулась возбужденная.

— Костенька! В городе вывесили траурные флаги.

Сын удивленно спросил:

— Умер, что ли, кто из главных фашистов? А что говорят?

— Шепчутся, будто у Волги наши окружили и разбили большую армию фашистов.

Костя радостно захлопал в ладоши.

— Вот это здорово! Значит, врут фашисты, что везде побеждают. Подожди, придет время, и Киев освободят.

Он сразу повеселел от этой радостной новости.

А в конце марта случилось новое событие. Уже начало теплеть. Снег с каждым днем все больше подтаивал. Еще одна трудная зима осталась позади. Однажды мать с Костей засиделись допоздна. Разговаривали, вспоминая прошлое хорошее время, вместе мечтали о том дне, когда кончится это тяжелое лихолетье и в городе снова установится родная Советская власть. Костя с печалью замечал, что мать сильно постарела, в ее черных волосах проступала седина. Сам он похудел, вытянулся и заметно повзрослел.

— Ничего, мама, — утешал он, — вернется еще хорошая жизнь.

— Дай-то бог,— вздохнула Пелагея Федоровна и вдруг умолкла.

В дверь хаты тихо постучали. Они прислушались, встревоженные. Снова тихий стук. Мать приоткрыла дверь.

Костя из-за ее плеча напряженно вглядывался в темноту.

— Кто тут? — испуганно спросила мать.

— Это я, Федоровна, — услышали они знакомый голос Остапа Охрименко.

— Батюшки! — ахнула мать.— Да что с тобой?

— Ничего страшного. Помоги мне встать. А ты, Костя, выгляни на улицу, не увязался ли кто за мной?

На улице было пустынно. Когда Костя вернулся в хату, мать перевязывала старому токарю рану. Нога была прострелена насквозь чуть пониже колена. Охрименко морщился от боли, но терпел. Наконец перевязка была окончена.

— Ну как, все спокойно? — спросил Остап.

— На улице никого нет, — ответил Костя.

— Значит, счастливо удрал, — радостно вздохнул Остап. — А все-таки, Федоровна, надо бы меня куда-то запрятать от греха, пока нога не заживет.

— Мама, а если дядю Остапа в погребе спрятать? — предложил Костя.

— И то верно, — согласилась мать, — в погребе будет безопаснее.

— Тогда ведите меня скорее в погреб. Буду, как суслик, прятаться в норе,— пошутил Охрименко.— Только, Федоровна, чур — молчок. Вы меня не видели и знать ничего не знаете.

— Да что ты, Остап Терентьевич,— обиделась мать.— Али я не советский человек? Да хоть режь меня — ни слова не вымолвлю.

— Извини, пожалуйста, — оправдывался смущенный Охрименко. — Это я по привычке. Знаю, что вы люди надежные, не подведете.

В погребе быстро устроили постель и уложили на нее старого токаря.

— Отдыхай спокойно, Остап Терентьевич, тут тебя никто не побеспокоит, — сказала мать.

— Спасибо! — поблагодарил Охрименко. — А ты, Костя, посиди немного со мной.

Когда они остались вдвоем, Охрименко приподнялся на локте.

— Опять тебя, Костенька, приходится тревожить, но иначе нельзя. Сам видишь, что я пока никудышный ходок. А дело неотложное.

— Я, дядя Остап, на все согласен, — горячо сказал Костя.

— Спасибо, Костенька. Ты настоящий пионер. Герой!

Костя покраснел от похвалы.

— Так вот какое тебе задание будет, Костенька, — продолжал Охрименко. — Пойдешь завтра после обеда на Бессарабку. Там в съестном ряду найдешь женщину, которая будет торговать котлетами. Ты ее спросишь: «Фаршированные кабачки есть?» Она тебе ответит: «Придется подождать лета, тогда и кабачки будут». На это ты ей скажешь: «Мне ждать некогда, дайте котлетку, только поподжаристее». Ты скушай котлету, а потом отойди от нее, но крутись тут же, неподалеку. Когда она отторгуется и пойдет домой, издали иди за ней. А там она уже даст тебе знак, что дальше делать. Но будь осторожен, на шпиков не нарвись.

— А как я ее от других отличу? Ведь там не одна она будет торговать.

— Молодец! — снова похвалил Охрименко. — Голова у тебя работает. Эта женщина будет одета в черный полушубок, подпоясанный желтым шарфом. На ногах галоши, на голове зеленая шаль. А на столе у нее будет стоять пустая бутыль с отбитым горлышком. Ясно?

— Ясно!

— Тогда иди отдыхай. А завтра — за дело.

Костя на минуту замешкался. Он хотел было рассказать Охрименко о знамени, но тут же одумался, вспомнив строгий наказ погибшего командира. «Раз командир запретил говорить об этом до прихода наших — значит, нельзя», — подумал он и пошел к выходу.

Утром по улицам поселка несколько раз взад-вперед промчались мотоциклисты. «Ищите, ищите, — подумал Костя, — черта с два найдете». После обеда он направился на Бессарабку.

Все вышло очень удачно. Часа через два Костя издали шел за невысокой пожилой женщиной в черном полушубке. На углу переулка она остановилась и опустила свою поклажу на землю. Будто только сейчас заметив идущего следом Костю, крикнула ему:

— Мальчик! Помоги донести вещи. Я тебе заплачу.

Костя молча взял тяжелую корзину. Вскоре они свернули в переулок, а затем вошли во двор. Миновав сарай, юркнули в маленький огород и оказались возле ветхой избушки. Женщина трижды с перерывами постучала в окошко. Дверь открылась, в ней показался плечистый парень в потемневшей спецовке. Увидев женщину, он улыбнулся и вопросительно посмотрел на Костю.

— От богомольца, — коротко сказала женщина и тут же оставила их вдвоем.

А вечером, когда стемнело, Костя привел парня к Охрименко. Старик обрадовался и крепко пожал парню руку.

— У вас все в порядке? — спросил он.

— В порядке. Мы за тебя очень боялись. Наши видели Петруся убитого возле оврага, а ты исчез. Думали, что в гестапо попал.

— Ну, не так-то сразу, — усмехнулся Охрименко. — Была маленькая стычка. Петрусь, как было установлено, задержал их, а я утек. Подранили только меня, придется несколько дней отлеживаться. Петруся вот жаль, хороший человек был.

Наступило горестное молчание. Костя хотел было уйти, чтобы не мешать разговору, но Охрименко удержал его.

— Останься, Костя, — сказал он. — Ты человек свой, проверенный. Может, еще понадобишься.

Костя остался. Но из последующего разговора он, по правде сказать, мало что понял. Охрименко спросил:

— Ну что, выяснили?

— Точно известно, бал будет через три дня.

Парень достал из кармана листок бумаги и развернул его. На нем карандашом был нарисован какой-то план.

— Вот здесь, — указал он на жирный крест в центре плана.

— Ага, — удовлетворенно хмыкнул Охрименко, рассматривая план, — значит, отметим день рождения господина Гитлера.

— Надо бы.

— Обязательно отметим. Как же иначе? — усмехнулся старик и добавил уже серьезным тоном: — План должен был доставить я, но сам видишь — не могу. Придется, Алеша, тебе. Пойдешь?

— Пойду!

— Вот и ладно, — повеселел Охрименко, — а я тут на иллюминацию посмотрю. Думаю, что наши не прозевают. Сейчас же отправляйся и передай план по назначению. Явка в сторожевой будке. Знаешь где?

— Знаю. Филипп объяснил.

— Ну, в добрый путь!

Тот попрощался и быстро ушел.

— Запомни этого человека, Костенька? Найдешь его, если надо будет?

— Найду.

— В случае чего, держи связь с ним. А теперь иди спи.

Больше недели отлеживался в погребе Остап Охрименко. Наконец рана его зажила. Но он еще прихрамывал и ходил, опираясь на палочку.

Однажды вечером он спросил Костю:

— Помнится мне, у вас на чердаке есть маленькое окошко?

— Есть, — ответил недоумевающий Костя, — а зачем вам?

— А вот заберемся на чердак, тогда и узнаешь.

На чердаке Охрименко приник к окошку и долго всматривался в весеннюю темноту.

— Пока ничего не видно, — вздохнул он. — Подождем. Сейчас, пожалуй, еще рано.

— А что будет? — спросил Костя.

— Если все пойдет ладно, то мы с тобой, Костя, увидим очень красивую иллюминацию.

Ждать пришлось долго. Костя зябко поеживался, но стойко ждал. И вдруг в ночной тишине они услышали глухие взрывы.

Костя выглянул из оконца. Вдали высоко в небо взметнулся столб огня.

— С днем ангела, господин Гитлер! — торжествующе засмеялся Охрименко.

...Как выяснилось позднее, в Киеве в ту ночь произошло следующее.

В офицерском клубе киевского гарнизона фашисты торжественно праздновали день рождения Гитлера. Гремела музыка, рекой лилось вино. Пьяные офицеры во все горло орали песни, произносили хвастливые речи в честь непобедимой гитлеровской армии, танцевали.

И вдруг в самый разгар бала грохнули взрывы, потолок рухнул, свет погас. Здание загорелось. Обезумевшие оккупанты в ужасе метались по горяшему клубу. У выходных дверей возникла дикая свалка.

По городу пошли слухи, что это подпольщики минами подорвали здание. В течение трех дней после этого киевляне с тайной радостью наблюдали за тем, как с оцепленной площади, в центре которой возвышался офицерский клуб, вывозили на грузовиках откопанные из-под обломков трупы.

Радовался в ту ночь вместе с Охрименко и Костя, наблюдая за тем, как далеко на горе темную мглу прорезают языки яркого пламени.

— Так им и надо! — возбужденно шептал он.

— Это только первый подарочек, — вторил ему Охрименко, — будет им и еще немало гостинцев.

Рано утром старик распрощался с Костей.

— Пора и обратно. Загостился я здесь, — сказал он. — А ты не грусти. Теперь уж не так долго ждать. Скоро побегут гитлеровцы назад как ошпаренные. Будь здоров, Костенька!

Слегка прихрамывая, он исчез в предрассветной мгле.

СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

По Киеву распространились слухи о новой крупной победе Советской Армии под Курском и Орлом. Киевляне шепотом, из уст в уста передавали радостную весть: гитлеровские армии в беспорядке отступают на запад. Линия фронта снова приближалась к берегам Днепра. Все чаще советские самолеты начали появляться над Киевом, громя вражеские войска, военные сооружения и склады.

За месяц до освобождения Киева в Куреневке разместился

артиллерийский полк. И вот как-то утром советские летчики начали бомбежку. Взлетали в воздух пушки, пулеметы, грузовики, пылало здание комендатуры.

Обезумевшие от страха фашисты кинулись прятаться кто куда. Костя в это время был на огороде. Он лег прямо на землю, между гряд.

Мимо него пробежали два офицера. Мечась по огороду в поисках убежища, они с разбегу, ничего уже не соображая, прыгнули в колодец. Костя замер от страха. Забыв о рвущихся бомбах, он, привстав, неотрывно смотрел на колодец. «Все пропало,— думал он,— станут они выбираться наверх, доска оторвется, и мой тайник увидят». Надо было уходить, но Костя не мог сдвинуться с места.

Окончилась бомбежка, улеглась паника, а офицеры все еще сидели в колодце. Но вот со дна его раздались истошные крики. Солдаты принесли лестницу и вытащили офицеров. Один расшиб себе голову и был без памяти, а другой сломал ногу. Костя вернулся в хату радостный, успокоенный: его тайник не обнаружили.

Наконец настал долгожданный день. В ночь на 6 ноября 1943 года советские части, стремительно переправившись через Днепр в нескольких местах, освободили Киев.

Костя с матерью в это время скрывались в Камышевке у тетки. Мать опасалась, что в последний момент сына могут угнать в Германию, и прятала Костю на сеновале под соломой.

Услышав радостную весть, Костя сказал:

— Пойдем, мама, в Киев.

— Погоди, Костенька, трошки. Там, наверно, еще стреляют.

— Пойдем. Очень важное дело у меня.

— Да что такое случилось?

— По дороге, мама, все расскажу.

В полдень Костя уже стоял у дверей военной комендатуры города. Дорогу ему преградил часовой.

— Нельзя сюда, мальчик.

— Пустите меня. Мне надо к самому главному начальнику.

— Сказано нельзя, значит, нельзя.

— Дяденька часовой, пропустите. У меня важное дело.

Но часовой был неумолим. В это время к подъезду подкатил юркий «виллис». Воспользовавшись тем, что внимание часового было отвлечено, Костя ринулся вперед. Но проворный часовой в самых дверях схватил его за шиворот и потащил обратно.

— Экий ты неугомонный,— ворчал он.

— В чем дело?— строго спросил офицер, приехавший на машине.

— Рвется в дом, товарищ капитан, а зачем, неизвестно. И без пропуска.

— Что тебе надо, мальчик?— спросил офицер.

— Пропустите меня к главному начальнику.

— Зачем?

— Это тайна. Ему скажу, а вам нельзя.

— Вот что, мальчик. Я адъютант коменданта. Скажи мне, в чем дело, и я тебя пропущу.

Костя поколебался минуту, а затем шепнул адъютанту несколько слов. Лицо офицера стало серьезным.

— Вот оно что! Тогда идем.

Офицер провел Костю в большую комнату на втором этаже.

— Обожди меня здесь.

Костя огляделся. В приемной находилось несколько человек — военных и гражданских. Они с удивлением смотрели на него.

— Костя, как ты сюда попал? А я тебя ищу, прямо с ног сбился.

Перед Костей стоял улыбающийся Остап Охрименко, одетый в военную форму. На груди его сверкали ордена Ленина и Красной Звезды.

Обрадованный Костя бросился к нему.

— Дядя Остап, вы живы?

— Как видишь,— усмехнулся Остап, обнимая его.— А зачем ты здесь?

— У меня очень важное дело. Я раньше хотел рассказать вам, да нельзя было.

— Да ну!— изумился Охрименко.— Что это за важное дело?

Но Костя не успел ему ответить, помешал подошедший адъютант.

— Вы знаете этого мальчика, товарищ Охрименко?— спросил он.

— А то как же. Мы ведь соседи. Это Костя Ковальчук, сынок моего покойного друга. Боевой паренек. Помните, я рассказывал о нем?

— Ах, это он самый и есть! Тогда идемте и вы с нами.

В кабинете за столом сидел пожилой генерал. Адъютант что-то тихо сказал ему. Генерал кивнул и пристально посмотрел на мальчика.

— Вот ты какой, Костя Ковальчук,— ласково сказал он,— ну, докладывай, что у тебя за тайна.

...Когда Костя окончил рассказ, генерал обнял отважного паренька и крепко поцеловал.

— Спасибо тебе, дорогой товарищ Ковальчук! Да понимаешь ли ты, какой подвиг совершил? Ты поступил как советский человек, как настоящий пионер-ленинец!

Он обернулся к адъютанту:

— Машину! Быстро! Едем за знаменем. Ну и молодец!

Полк, чье знамя спас отважный киевский пионер, был снова сформирован под прежним названием. Косте была оказана высокая честь: лично вручить полку его боевое знамя.

* * *

Полк этот затем славно сражался с врагами и с боями дошел до самого гитлеровского логова — до Берлина.

Все в полку считали Костю своим однополчанином, ему часто писали письма о своих боевых делах.

Счастливым праздником в жизни Кости был день 23 февраля 1944 года, когда Родина отмечала 26-ю годовщину Советской Армии.

В этот день Косте вручили орден боевого Красного Знамени, которым наградил его Верховный Совет СССР за подвиг.

По ходатайству генерала — военного коменданта Киева — Костю Ковальчука приняли в Суворовское училище. Отвез его туда и сдал с рук на руки начальнику старый Остап Охрименко.

— Ну, Костенька,— сказал он на прощание,— служи Родине так же, как служил ты ей до сих пор.

— Служу Советскому Союзу!— ответил маленький герой, салютуя по-пионерски.

ЕФИМ РУЖАНСКИЙ

НАД НЕВОЙ

Повесть



ОНИ ОСТАВАЛИСЬ В ЛЕНИНГРАДЕ

Вместо предисловия

Как хорошо здесь, на широкой асфальтированной набережной, залитой светом заходящего солнца! С Невы тянет прохладой, чистой и освежающей. Блестит притихшая вода. Темнеет. По асфальту то и дело проносятся машины, играя разноголосыми рожками.

В маленьких легких лодочках плывут по Неве юноши и девушки. Они гребут наперерез волне, оставленной только что прошедшим пароходом, и, качаясь на высоких пенистых гребнях, громко и весело смеются...

Иду вдоль Невы, и мне вспоминается то далекое лето, когда немецкие фашисты напали на нашу страну. Вечерами, возвращаясь из редакции, я встречал здесь, на набережной, худенького черноглазого мальчика с золотистыми курчавыми волосами. Он приходил сюда один или с товарищами и, перегнувшись через гранитный парапет, смотрел вниз, на воду.

Я часто встречал здесь этого мальчика и запомнил его лицо: бледное и не по летам серьезное.

Однажды ранним утром, возвращаясь с ночного дежурства, я увидел его на обычном месте. Он, как всегда, был с товарищами и удил рыбу, только удочку держал в левой руке: правая была забинтована.

Я приблизился к ребятам.

Широкоплечий, крепкий мальчуган со скуластым смуглым лицом, на котором неожиданно ярко сияли голубые глаза, обращаясь к рыбаку, сказал:

— Ты, Миш, днем бы пришел, тогда улов был бы. Затем, обернувшись к высокому, долговязому парнишке, добавил:— Зря мы с тобой, Володька, столько червей накопали.

— Нет!— настаивал Миша.— Удить надо вечером, а лучше всего, когда восходит солнце.

— Вечно вы спорите. Вот поймает он рыбу-кит, и все будет нормально!— миролюбиво проговорил Володя.

Вдруг Миша резко дернул удочку и вытащил рыбину. В это время из-под арки моста блеснул луч солнца.

— Смотрите, солнце встает над Невой!— почти выкрикнул Миша...

После этого я не встречал мальчика несколько месяцев. Но вот зимой, когда враги обстреливали город из тяжелых орудий и бомбили с воздуха, я увидел его портрет в комсомольской газете. Писали о том, как смело вел он себя во время вражеских налетов.

Оказалось, что Миша Корольков (так звали этого мальчика) жил на нашей улице, через два дома от меня. Скоро я узнал многое не только о нем, но и о его друзьях: Степе Толмачеве,

5 Заказ 738

Володе Еремееве, о Степиной сестричке Тоне, о брате их Василии и о других, кто в дни тяжелых испытаний жил в Ленинграде, отстаивал его от врага.

Не только взрослые совершали тогда подвиги. С беспримерным героизмом вели себя дети. И потому верилось, что скоро придет победная весна, когда плоты тяжелых льдин из Ладоги и Невы уйдут в Финский залив и в полноводной реке ребята, как и раньше, будут удить рыбу на восходе солнца...

Глава первая
РЕБЯТА С ЛЕНИНГРАДСКОГО ФРОНТА

СКРИПКА

Миша Корольков услышал по радио известие с Ленинградского фронта и сказал:

— Это про нашего папу.

Мать ответила:

— Да, сынок, про папу, и про тебя, и про твоих друзей. У нас теперь весь город — фронт...

Мише это понравилось: выходит, и он — фронтовик! И когда вечером к нему зашли друзья — Степа Толмачев и долговязый Володя Еремеев,— он повторил им мамины слова, заявив:

— Мы тоже с Ленинградского фронта! Вот и нам бы, ребята, что-нибудь сделать такое, как на фронте!

— Нормально!— быстро согласился Володя.

— Как на фронте...— задумчиво повторил Миша.

— Тоже, герой! Винтовка в два раза длиннее тебя!— рассмеялся Степа Толмачев. Он очень любил спорить.

— И ты не выше меня!— обиженно ответил Миша.— А героями не только силачи бывают.

И разгорелся бы спор, если б не Володя Еремеев, который, как всегда, вмешался и мигом помирил спорщиков:

— Роста вы одинакового. А с винтовкой и ты, Степа, пожалуй, не справишься, хоть и старше нас...

Володя потер пальцами лоб, подумал. Потом вдруг выпалил:

— А про школу нашу забыли? Там же теперь госпиталь будет! Надо готовить помещение, койки переносить или еще там чего... А потом, когда привезут раненых бойцов, станем им помогать: книжку прочитать, письма за них написать, словом, дежурить. Вот и нормально будет!

Миша согласился, а Степа промолчал: возразить было нечего, но досадно стало, что не он до этого додумался.

Пошли к начальнику госпиталя все трое. Миша предложил, чтобы и Тоню, Степину сестричку, взять с собой, но Степа сказал, что Тоня не сможет.

— Жаль,— сказал Миша,— она санитаркой, а то и медицинской сестрой могла бы тут... В госпитале очень надо...

И действительно, начальник госпиталя, разрешив ребятам помогать в уборке двора, в оборудовании подвала под бомбоубежище, в очистке чердака для дежурных бригады противовоздушной обороны, в заключение сказал:

— А когда привезут раненых, вы, ребята, и девушек из этой школы пригласили бы сюда. В госпитале им немало работы найдется...

— Вот видите,— сказал Миша ребятам, когда они возвращались домой,— я же говорил: хорошо бы и Тоню сюда.

— Не может Тоня... Она теперь в детсадике работает... Уже давно...— сказал Степа.

— Да, жаль...— повторил Миша, и глаза его сразу затуманились. Степа заметил это, и ему расхотелось спорить с товарищем.

Ребята пожали друг другу руки и разошлись по домам на обед, договорившись: ровно через два часа явиться в госпиталь.

— Только чтоб без опозданий!— предложил Миша Корольков.— Чтоб по-военному. Идет?

— Нормально!— согласился Володя Еремеев.

А Степа Толмачев тряхнул светлыми кудрями, расправил грудь, обтянутую братовой тельняшкой, и коротко бросил:

— А то как же!

Он и на этот раз не стал возражать.

И вообще Степа теперь, в войну, стал обходиться с Мишей «по-мирному», хотя раньше, в мирное время, помнится, немало с ним «воевал».

Одинакового роста, они во всем остальном резко отличались друг от друга. Степа — черноволосый, со светло-голубыми глазами, а у Миши — светлые кудри и черные глаза. Степа — широкоплечий, лицо у него смуглое, скуластое, с крутым подбородком, а Миша — щуплый, и лицо, как у девчонки: круглое, белое, с нежным румянцем.

Но главное, разными были у них характеры. Степа Толмачев — не в меру резв, любитель пошуметь, поспорить. А Миша — спокойный и выдержанный. Если он и спорил, то без злости и упрямства, и вывести его из равновесия удавалось редко.

И, быть может, именно поэтому горячий Степан Толмачев раньше не мог покрепче сдружиться с тихим Мишей Корольковым, хотя помощь от него, бывало, принимал. Степан отставал по математике и часто являлся в класс, не выполнив домашнего задания. Тогда Миша начинал ему объяснять решение задач. Но не было случая, чтоб они досидели до конца, не повздорив. Степа не терпел спокойного, учительского тона Миши.

— Знаю, знаю, теперь понял: надо разделить,— говорил он, торопясь решить задачу.

— Опять заспешил,— с досадой замечал Миша и спокойно добавлял:— Дело не в том, чтобы узнать — разделить или умножить, отнять или прибавить... Главное, чтобы ты сумел понять задачу, правильно поставить вопросы. Вот и подумай...

Но Степа уже не слушал его, он заканчивал деление заданных чисел.

— Чего мне еще думать?— говорил он.— Получилось точно по ответу — значит, все в порядке. Что еще надо? Подумаешь, учитель какой нашелся!..

Был у Миши с точки зрения Степы крупный недостаток: он учился играть на скрипке.

— На скрипках только неженки играют. То ли дело духовой оркестр!— говорил Степа товарищам.— Вот если б у нас в школе духовой оркестр организовали, я на кларнете марши играл бы!..

А когда Мишу послали учиться во Дворец пионеров, Степа совсем задразнил его:

— Вундеркиндик! Паганюня!..

И вот теперь, проходя по широкому Невскому проспекту мимо Дворца пионеров, Степа вспомнил обо всем этом. Дворец казался Степе родным и красивым, несмотря на то что высокие, нарядные окна были заботливо заколочены досками, и выглядел он совсем нежилым.

Степа подумал: «Может, и сейчас там занимаются его товарищи, а в каком-нибудь зале идет концерт самодеятельности...»

Степа пересек проспект, приблизился к самому дворцовому зданию,— и оказалось, действительно во Дворце продолжали учиться ленинградские ребята. В перерывах между орудийными залпами из окон Дворца доносилась какая-то спокойная скрипичная музыка... Степа представил себе, как в нетопленном здании стоит мальчик или девочка и, прижимая посиневшими от холода пальцами струны на грифе, выводит смычком то соловьиную трель, то строгую и мужественную мелодию, которая придает силу и бодрость. Конечно, напрасно дразнил он Мишу...

Степа забылся, слушая музыку, как вдруг с воем, грохотом и треском впереди разорвался снаряд. Он упал на мостовую, возле скверика. Куски асфальта и булыжника взлетели в воздух и каменным дождем обрушились на памятник царицы Екатерины, царапая вековую бронзу, на кусты и деревья, рассекая ветви.

Кто-то в скверике застонал, и Степа бросился туда. Он не знал, сможет ли чем-нибудь помочь стонавшему, и все же бежал к нему...

Но вот снова у самого Дворца разорвался тяжелый снаряд. Он попал в красивую железную ограду дворцового сада.

Витая, узорная решетка погнулась, скрутилась и низко склонилась к земле...

С опозданием завыла сирена воздушной тревоги, и в это время в сад на угол здания упала бомба, взметнув кверху глыбы земли, камней и щебня.

Степа упал на тротуар. Когда он поднялся, то увидел бегущих в сад людей. Это были члены аварийной бригады — совсем еще молодые рабочие, домашние хозяйки и старики. В свободное время бригадники помогали пожарным командам тушить огонь, освобождать людей из заваленных подвалов. Они всегда вовремя оказывались на месте аварии с лопатками, ломами, носилками.

Так они появились и сейчас.

Степа тоже побежал с бригадниками и стал помогать им разгребать кирпичи.

Весь сад был исковеркан.

У пощербленного осколками фонтанного барьера валялась расколотая надвое мраморная статуя...

На дереве, зацепившись подставкой за сучок, висел большой ярко расцвеченный глобус...

В саду, у разрушенной стены, что-то блеснуло. Степа вгляделся и увидел гриф скрипки, заваленной штукатуркой.

Огонь подползал к ней все ближе. Степа быстро, но осторожно, чтобы не исцарапать драгоценный инструмент, стал руками разгребать щебень. Он обломал себе ногти, ободрал пальцы об острые осколки кирпича, и, наконец,— вот она! Степа удивился и обрадовался: скрипка была цела, только две первые струны порвались и, загнувшись колечками, свисали с тонкого блестящего грифа...

В госпиталь Степа Толмачев пришел с большим опозданием.

Ребята хмурились и были явно недовольны. Володя Еремеев и Миша Корольков заносили со двора в помещение школы больничные койки.

Не оборачиваясь, Миша сказал Степе:

— Не годится это! Теперь война... Понимать надо... Если опаздывать будешь, так лучше и вовсе не приходи!..

Обидно было Степе слышать эти слова, да еще от Миши. В другое время он обязательно бы рассорился с ним. А сейчас он только вздохнул и сказал:

— Ладно, ребята, больше этого не будет.

Потом он расстегнул пальто, достал скрипку и протянул ее Мише:

— Это тебе. И давай не будем ссориться. Идет?

— Идет!— ответил Миша. Большие черные глаза его еще больше расширились от удивления и заискрились от радости.

Но вот он стал рассматривать скрипку, и лицо помрачнело:— Ты откуда ее... взял? Это же моя... из Дворца...

Пришлось все рассказать. Выслушав Степу, Миша отвернулся, чтоб ребята не видели его слез, и сдавленным голосом произнес:

— Воюют... тоже... против ребят. Дворец рушат... гады!

ФОНАРЬ

Степа Толмачев торопился: в эту ночь ему предстояло дежурить на крыше своей школы, ставшей настоящим госпиталем.

У ворот школы теперь стояли вооруженные часовые. Они уже привыкли к ребятам и пропускали их сразу, как старых знакомых.

Пройдя в здание, Степа увидел, что по коридору бегают санитарки с носилками, снуют взад-вперед медицинские сестры, врачи. Он знал: днем привезли новую партию раненых, которых теперь стараются получше разместить по классам-палатам в первом этаже.

Со вчерашнего дня Степу и его друзей приняли в госпитальную группу ПВО — противовоздушной обороны. По сигналу воздушной тревоги члены группы ПВО должны быть, как говорится, в полной боевой готовности. Их уже научили гасить зажигательные бомбы-«зажигалки», засыпая их песком.

И вот сегодня — ответственное задание: ребячья группа, возглавляемая Степой, проведет ночное дежурство на крыше госпиталя.

Степа волновался: впервые поднялся он на эту крышу темной холодной ночью, впервые доверили ему охрану здания, в котором находятся раненые советские воины! Слух и зрение его были обострены. Каждый шорох настораживал...

Несколько раз обошел Степа свой участок крыши, негромко окликнул товарищей, с которыми его теперь еще больше сдружило общее дело.

— Все нормально, Степа, да вот озяб малость,— отозвался Володя Еремеев, дежуривший по соседству.

Подумав немного, Степа сказал:

— Давайте, ребята, на чердак! Погрейтесь.

Ребята спустились на чердак.

Степа остался один. Под ногами темнела улица, знакомая до мелочей, исхоженная, родная. Он и в темноте мог точно определить, где находится булочная, где газетный киоск. Да только ли улица? Весь город отсюда, с высоты шестого этажа, виден как на ладони.

Слева, рядышком с улицей, растянулся широкий Литейный проспект. Впереди угадывалась золотая Адмиралтейская игла, а подальше — купол Исаакиевского собора, откуда Степа од-

нажды в ясный весенний день видел весь город, его окрестности и даже Кронштадт!..

А там, справа, у самой Невы, должна быть Петропавловская крепость. За ее наружной стеной — пляж, где еще недавно они загорали на солнышке всей семьей: старший брат Василий, сестричка Тоня и он, Степа.

А напротив, над Невой, красуется Зимний дворец, за ним — огромный Невский проспект, бесчисленные мосты над каналами, кварталы новых домов, заводы и фабрики, театры и музеи, памятники...

И Степа почувствовал себя стражем этого притихшего, но величественного города.

— Конечно,— решил Степа,— я не с оружием, как Вася, но тоже на страже...— И он с завистью подумал о своем старшем брате Василии, который с первых дней войны добровольцем ушел на Балтийский флот.

Степа вспомнил, как однажды мальчишки из соседнего двора хотели отобрать у него летающий планер. Ребята были рослые, крепкие — из ремесленного училища. Что делать? Не отдавать же свою работу! И Степа отчаянно сопротивлялся. Во время потасовки появился Василий.

— Ну, вы!— спокойно сказал он.— Здоровяки какие, а трое на одного малыша наскочили.

Ребята кинулись врассыпную кто куда. А Вася им вдогонку:

— Э, да вы еще и трусы, одного меня испугались. Вас же трое. Подходи давай, я вам уши помну.

Но никто из них, понятно, не рискнул помериться с ним силой. С той поры драчуны и близко к Степе подходить боялись...

Но бывало и другое.

Как-то, возвращаясь с работы, Василий заглянул на задний двор, где Степа играл в перышки с Вадиком. Вадик был худощавый, на два года моложе Степы. Он проигрывал, и Степа щелкал его ногтем по лбу, да так сильно, что Вадик вскрикивал от боли.

Вечером Василий предложил Степе:

— Давай, братишка, в шашки сразимся, что ли...

— Давай, давай!— обрадовался Степа, любивший эту игру.— Только ты мне, как всегда, две пешки вперед.

— Ладно. Две так две. Но уговор: играть будем на щелчки.

— У-у! Тогда с тебя три пешки вперед.

— Пусть три. Согласен.

Играли недолго. Василий проиграл и получил щелчок. Вторая партия длилась дольше, но на этот раз была проиграна Степой.

— Ну-ка, подставляй лоб, братишка,— строго сказал Василий и дал такого щелчка, что синяк вскочил.

Степа стерпел, но обиделся:

— Силу показываешь... Ты вон какой, а я...

Василий чуть улыбнулся и ответил:

— Силу я, братишка, не показываю. Мог бы и посильней щелкнуть — ведь я же «вон какой»... А как ты сам с Вадиком в перышки играл? Ты же «вон какой», а он совсем малыш. И как ты его сильно щелкал! Не стыдно?

Степе, конечно, было стыдно, но все-таки он тогда обиделся на брата. А вот теперь готов получить от него сто щелчков и тумаков, быть бы только вместе! Ведь как нужна помощь Василия именно теперь, когда приехавшая к ним из села тетя Надя так заболела, что и с постели не встает...

Думая обо всем этом, он совсем забылся и не замечал ни ветра, ни стужи.

Вдруг ему показалось, что на противоположной — через улицу — крыше блеснул и погас огонек. Степа стал внимательно присматриваться, но больше ничего не увидел.

«Померещилось»,— подумал он, продолжая вглядываться в темноту.

Вдруг по небу, упираясь в тучи, прошелся луч прожектора. Яркая полоса скользнула по крыше, и Степан увидел: там, у дымовой трубы, притаился человек. Или, может быть, это только тень?!!

Но луч уже был высоко, шарил по грязно-серым тучам, словно пытаясь пронзить их.

И Степа так больше ничего и не увидел на погрузившейся в темноту крыше.

Прошло, наверно, немало времени. Степа озяб и собрался уже спуститься на чердак погреться, когда снова на противоположной крыше блеснул свет.

В темноте огонь был ясно виден, он горел, как ночной костер в степи.

«Пожар?» — с тревогой подумал Степа. Он хорошо знал, что этот дом, разрушенный снарядом, пуст. В нем никто не живет. Откуда же огонь? Ведь там и дежурных никого нет...

«Надо милиционеру сказать»,— решил Степа и позвал ребят.

Володя Еремеев и Миша Корольков поднялись наверх. Увидев мерцающий огонек, Володя сразу согласился со Степой:

— Да, тут что-то неладно... Надо заявить...

Но Миша, обычно молчаливый мальчик, вдруг горячо заговорил:

— Не согласен! Это что: милиционеру сказал — и с плеч долой... Нам бы самим проследить да поймать того, кто там сигналит! А так что: заявили, а сами в кусты...

Вой сирены не дал ему договорить, но было ясно: Миша Корольков считал их трусами.

— Подумаешь, герой!— обидчиво воскликнул Степа Толмачев.

Володя Еремеев обычным для него шутливым тоном заявил, стараясь избежать спора:

— Все нормально! Поручим Мише проследить за сигнальщиком. Милиционеру тоже сообщить надо.

А Степа смотрел на крышу и словно уже не слышал, о чем говорили товарищи.

Все сильнее и сильнее гудели сирены: заводские, корабельные, уличные... Казалось, никаких звуков больше не существовало, кроме воя сирен, наполнившего собой эту темную, как деготь, ночь.

— А ну-ка, Миша, пойдем со мной, да быстро,— заторопился Степа.— А ты, Володя, гляди в оба... Дело такое, сами понимаете. Воздушная тревога, а тут, рядом с госпиталем,— сигнальщик. Его нужно сейчас же...

Он не договорил. Загрохотала, заухала неподалеку зенитка, за ней — вторая, третья...

Степа с Мишей стремглав побежали вниз. У ворот их остановил дежурный.

— Куда?

— Мы с крыши... с крыши,— на ходу ответил Миша, показывая рукой.

— Постой, постой! Какая крыша, при чем тут крыша? — снова спросил их часовой.

— На соседней крыше огонь...— заикаясь и перебивая друг друга, ответили они и выскочили на улицу.

— Ну и ребятишки, все-то им мерещится. На какой-то крыше какой-то огонь...— пробормотал им вслед часовой, улыбаясь.

А ребята тем временем бежали к перекрестку. На полпути Миша вдруг заявил:

— Не пойду я к милиционеру, Степа. Его еще искать надо, а я...

Степа махнул рукой: мол, как хочешь, некогда разговаривать с тобой,— и побежал дальше.

Когда он вернулся с милиционером, Миши нигде не было видно.

«И куда бы он мог деваться?» — с досадой и беспокойством подумал Степа.

Исчезновение товарища срывало весь его план. Степа предполагал, что вместе с милиционером он поднимется на крышу, а Корольков будет дежурить внизу, у чердачной лестницы. А теперь...

— Ну, где же твой приятель?— спросил милиционер.

Он первым вошел в полуразрушенный дом и очутился у темной лестницы, ведущей на чердак.

— Сбежал, видать, твой приятель,— продолжал милиционер и добавил:— Ну, ты оставайся тут и смотри. Если кто-нибудь появится, проследи, куда он пойдет.

И милиционер бесшумно, но быстро стал подниматься по ступенькам.

Степа, недовольный и расстроенный, прижался спиной к стене и стал всматриваться в темноту, прислушиваться к каждому звуку.

Перед ним поднималась темная, узкая чердачная лестница, и никого не было на ней видно.

Вдруг Степа услышал какой-то шорох. Он встрепенулся, прислушался. Ему послышалось, что там, наверху, кто-то затопал, застонал.

Степа оглянулся, никого вокруг не видно. Темнота и тишина стояли здесь рядом, плечом к плечу, притаившись, как два злодея.

Колени Степы задрожали мелко и часто. Мороз прошел по коже. Степа шагнул вперед и немного успокоился. Через несколько секунд, окончательно овладев собой, он уже взбирался по лестнице.

Добравшись до чердака, Степа Толмачев услышал громкий окрик милиционера:

— Стой!

И в ту же минуту какая-то длинная фигура прыгнула с крыши через слуховое окно на чердак. По крыше тяжело прогремели сапоги, и снова послышалось:

— Стой!

Длинная фигура метнулась от окна к лестнице. Степа понял — это сигнальщик. Не раздумывая, мальчик бросился ему под ноги, и тот со всего размаху грохнулся наземь, ударился головой о деревянный косяк, глухо застонал, выругался, заворочался, но подняться на ноги не смог.

Милиционер был уже на чердаке и поясом связывал за спиной руки сигнальщика.

— Слушай, паренек,— сказал Степе милиционер,— там, на крыше, посмотри, не твой ли приятель? Опередил он нас с тобой, дружище...

Степа вскочил на крышу.

Возле дымовой трубы лежал навзничь Миша Корольков. В одной руке у него был зажат кирпич, а в другой — обрызганный кровью погасший фонарь, отнятый у сигнальщика...

Увидев товарища, он приподнялся:

— Степа, а где этот? Не убежал, нет?

— Нет, не убежал, Мишенька, не убежал!

— Хорошо!— проговорил Миша счастливым голосом и, выпустив из ослабевших рук кирпич и фонарь, обнял Степу за плечи.

ДРУЖБА

Город Ленина был в блокаде — во вражеском кольце. Стало голодно: невозможно было завозить в город продукты. Бесконечные обстрелы, бомбежки и жестокие морозы вывели из строя водопровод, электростанции...

Тяжелы были блокадные зимние дни. В один из таких дней ребята пришли домой к Мише Королькову.

В маленькой комнатке темно: окна заколочены досками — защита от снарядных осколков.

В углу, возле печки, стояла кровать, на которой с забинтованной кистью левой руки лежал Миша Корольков, пострадавший во время ночного дежурства на крыше. Он стонал от боли, и ребята шли к нему на этот стон, в темноте не видя кровати и то и дело натыкаясь то на табурет, то на угол стола. Скоро, однако, глаза привыкли к полутьме, и ребята оживились.

Первым заговорил Степа Толмачев — самый старший среди ребят:

— Ну как, Миша?

Миша приподнял голову и попросил:

— Поверните меня, а то я вас не вижу. Мама сказала, чтоб я сам не двигался.

Володя встал, но Степа его остановил:

— Давайте я, ребята. Я умею. У нас тетя Надя уже долго хворает. У меня опыт!..

Степа осторожно, чтоб не задеть больную руку, стал поворачивать товарища на правый бок. Миша лег поудобнее и улыбнулся:

— Мне уже легче теперь... Доктор два раза приходил... из госпиталя. Я просил его, чтоб он меня в госпиталь в нашу школу взял. А он говорит: «Нельзя. Там для взрослых, для бойцов...»

Миша тяжело вздохнул.

Степа посмотрел на поскучневшего товарища и, подумав немного, сказал:

— А по-моему, это неправильно. Миша сигнальщика задержал — значит, он как боец! Надо поговорить с политруком Василием Ивановичем, он хороший, поможет нам добиться, чтобы Мишу взяли в госпиталь...

На том и порешили. Затем ребята стали расспрашивать Мишу наперебой:

— А хлеб-то у тебя выкуплен?

— А почему не топлено?

— А где мать?

Миша едва успевал отвечать. Мать со вчерашнего дня поступила на завод, где раньше работал отец. Хлеб выкупить еще не успели.

Печку не топили, потому что нет дров. Ребята переглянулись и засобирались.

— Ты, Миш, побудь немного один. У нас тут всякие дела есть, пойти надо. Мы скоро,— проговорил Степа.— Давай, заодно хлеб выкупим. Где у вас хлебные карточки?

Ребята ушли. «Конечно, сейчас у всех много дела, не до разговоров,— думал Миша.— А все-таки они настоящие друзья, не забывают меня. Скорей бы уж мне выздороветь!»

Через некоторое время ребята стали возвращаться.

Первым пришел Володя Еремеев. Он принес хлеб и несколько поленьев.

За ним явились Толмачевы: Степа и Тоня. Они принесли два полена и кусочек сахару, аккуратно завернутый в бумажку. Обыкновенный сахар в те дни был большой редкостью...

Тоня растопила печку и хотела поставить на огонь чайник, но воды в нем не оказалось.

— Все нормально!— заявил Володя.— Сейчас будет вода. Я быстро...

Володя отыскал на кухне веревку, ведро, сани и отправился на Неву за водой.

Но дело это оказалось не такое уж быстрое.

О, тогда нелегко было достать воду! Надо было спуститься к Неве по обледенелым скользким ступенькам, найти старую или пробить новую прорубь, набрать воды в ведро, привязать его веревкой к саням и... И только тогда начиналось самое трудное. Начнешь подниматься, ступеньки скользкие: только взберешься немного наверх, таща за собой сани, как ноги начинают скользить,— и вдруг летишь вниз, вода расплескивается или вовсе выливается. Тогда начинай все с самого начала, пока наконец не удастся вытащить наверх хоть полведра воды.

Поэтому Володя задержался дольше других ребят. Когда он вернулся к Мише, в комнате было тепло и из раскрытой печки на стол и на кровать падал неяркий, но веселый свет от горящих поленьев.

Тоня протирала чашки и блюдца. А Степа беседовал с Мишей о музыке.

— Скрипка — тоже хороший инструмент, очень даже хороший,— говорил Степа, чтобы Мише было приятно, но не сдержался и закончил:— Хотя лично я больше люблю военный духовой оркестр...

Закипел чайник, и Миша пил чай — с сахаром!

Затем ребята ушли, чтобы завтра снова навестить своего больного товарища.

Наконец они все-таки добились: политрук Полупенко поддержал их, и Мишу взяли в госпиталь. Он так обрадовался, что на время забыл о боли.

В госпитале Миша повеселел и с каждым днем стал все больше и больше поправляться. Но кто знает: может, самым лучшим лекарством для него была дружба!..

Глава вторая
ТОЛМАЧЕВЫ

ТОНЯ

В детский сад принесли ребенка. Закутанный в теплые платки, он казался большим. Но когда его раскутали, стало видно, что это малыш. Ему было года три. В руках он держал деревянную раскрашенную лошадку.

Малыш огляделся вокруг быстрыми, бегающими глазками и, ничего не говоря, подошел к Тоне.

Соседка, седая старушка, принесшая его в садик, рассказала:

— Колей звать его, по фамилии Плещеев. Первенец он. Любили они его крепко. Бывала я у них, у Плещеевых-то, знаю. Вася, Колин отец, в армию сразу пошел, вместе с моим внуком...

Старушка вдруг прервала рассказ и тихо, всхлипывая, проговорила:

— Живы ли они, живы ли...

Затем снова продолжала:

— А мать Колину звали Тоней. И такая же она была молоденькая и красивая: волосы светлые, а глаза и брови черные, как нарисованные!.. Ей, молодой, жить бы да жить. Ох, сколько же горя нам фашисты с войной принесли!

Старушка снова всхлипнула, затем утерла слезы и рассказала всю Колину историю.

Квартиру, в которой жил Коля с матерью, разбило снарядом. Мать была убита...

Целый день работала в квартире аварийная бригада, и только на следующее утро, приподняв наклонившуюся к стене дверь, один рабочий между дверью и стеной обнаружил Колю.

Мальчик спал на полу, а возле него лежали игрушки: плюшевый мишка и деревянная лошадка.

Когда рабочий взял ребенка на руки, Коля обнял его за шею и, показывая на пол, попросил:

— Дядя, возьми лосадку... лосадку мою возьми...

И успокоился лишь тогда, когда ему дали лошадку.

Рассказав это, старушка вздохнула и, обратившись почему-то не к заведующей детским садом, а к Тоне Толмачевой, попросила:

— Так что вы, пожалуйста, будьте подобрей к Коленьке Плещееву, сирота ж он...

— Не беспокойтесь, бабушка,— сказала Тоня.— В обиду его не дадим! Сама за ним смотреть буду.

И Тоня сдержала свое слово.

Тоню Толмачеву все дети любили. Она была веселой и красивой светловолосой девочкой с черными бровями и карими, блестящими глазами. В детском саду она работала уже полгода, почти с начала войны.

Дети к ней быстро привыкали, но особенно полюбил ее этот, новенький. Он все время ходил за Тоней и, кроме нее, никого не слушался.

— Чудом спасся пузан,— говорила о нем Тоня. Она очень полюбила мальчугана и возилась с ним, как с родным братишкой.

Но вот Коля заболел, у него началось воспаление легких.

«Неужели умрет? Нет, он не должен умереть. От бомбежки уцелел, а теперь что же?..» — с тревогой думала Тоня.

И девочка целыми сутками не отходила от постели малыша. В комнате было холодно. Она закутывала Колю в свой пуховый платок, брала на руки, согревала дыханием. Исхудала Тоня. Острые плечики ее еще больше обострились, щеки впали, и под глазами появились фиолетовые дужки. И вся она за это время как-то вытянулась, стала выглядеть старше своих лет.

Ребенок пошел на поправку, и Тоня снова повеселела. А мальчик до того к ней привык, что девочке нельзя было от него отлучиться даже на малое время.

— Хочу гулять с мамой Тоней!— кричал он, когда девочка собиралась уходить.

И Тоне приходилось брать его с собой на улицу или усыплять и уж только потом отправляться домой.

Вот однажды, когда Тоня с мальчиком на руках проходила по улице, им повстречался молодой лейтенант. Коля увидел его и замахал ручками:

— Папа! Папа мой! Папа Вася!..

Лейтенант куда-то спешил. Все же он остановился.

— Мама Тоня! Хочу к папе Васе!— еще более настойчиво стал требовать Коля.

Молодой командир подошел к малышу, который заулыбался и радостно стал выкрикивать:

— Пап! Пап! Пап!

— Сынок!..— ласково сказал лейтенант и осторожно погладил мальчика.

— Папа Вася,— повторял ребенок и рвался на руки к лейтенанту.

Командир взял его к себе и пошел рядом с Тоней. «Отца встретил»,— думала она, радуясь.

Они дошли до угла, и тогда командир, передавая Тоне малыша, сказал:

— Возьмите, мамаша...

Тоня удивилась:

— А разве вы не отец Коли?

— Нет, конечно... Он ошибся. Видно, похож я на его отца...

Тоня взяла Колю и неслышно произнесла:

— А я тоже, наверно, на его маму похожа. И имена у нас, значит, одинаковые... Он мне «мама Тоня» говорит, а я — просто Тоня... Няня из детского садика.

ПОХОРОНЫ

Пришла суровая ленинградская зима. Молчаливые, с забитыми окнами дома, казалось, были скованы холодом. На улицах и площадях города высились снежные сугробы. Они увеличивались с каждым днем: не на чем и некому было вывозить снег. После крупных снегопадов деревья, улицы, дома — все было заснеженным и напоминало собой сказочное северное царство, что находится далеко-далеко, за горами да за морями, за тридевять земель...

Улицы становились непроходимыми, и все же с утра они заполнялись людьми, которые, утопая по колена в снегу, торопились на работу. Прокладывать тропинки с утра выходили старики, женщины и дети. Ленинградские ребята не лепили, как бывало раньше, снежных баб, не играли в снежки. Чуть свет, под грохот артиллерийской канонады вставали они, хоть и трудно было им вылезать из согревшихся за ночь постелей. Напялив на себя побольше теплой одежды, похожие на маленьких водолазов в скафандрах, появлялись ребята на темных улицах: кто с лопатой, кто с ломиком, а кто с санями. С большой охотой принимались они за дело, и на их бледных, исхудавших лицах поблескивали глаза, в которых отражалось упорство и сознание важности этого труда. Ведь город, окруженный и обстреливаемый врагами, лишенный воды и электричества, скованный стужей и погруженный в снег, должен был продолжать работу! И люди не сдавались, хотя бороться за жизнь с каждым днем становилось все труднее и труднее.

Нередко Степа видел, как на улице гибли люди от настигшего их снаряда или бомбы, как падали с ног от голода и замерзали на снегу...

Смерть заглянула и в квартиру к Толмачевым — умерла тетя Надя.

Ребятам надо было подумать о похоронах, но, подавленные несчастьем, они не знали, с чего начать: такие горестные хлопоты были им тогда не по силам.

Тринадцатилетняя худенькая Тоня, придя домой из детского сада очень уставшая, забилась на кухне в уголок. Она боялась и заглянуть в комнату, где лежала мертвая тетя Надя...

А Степа, хоть он уже и взрослый почти — скоро паспорт получать надо! — тоже совсем растерялся: «Где достать гроб? Как отвезти его на кладбище? Кто возьмется рыть могилу?..»

На выручку пришла дворничиха Васюткина. Она всегда раньше всех узнавала, у кого и что случилось.

— Ох, вы, бедненькие! Уж я зайду к вам, помогу схоронить покойницу,— сказала дворничиха Степе.

И верно, зашла. Оглядела всю комнату, заглянула в шифоньер, увидала бархатное платье на вешалке и сказала:

— Вы бы мне, ребятки, это платьице отдали, покойнице-то оно уж все равно не потребно...

Степа удивился сначала: зачем старухе такое платье? Потом вспомнил, что у нее есть дочь, которая любила пофрантить и называла себя не Марией, а Марго. Сейчас она медсестра в какой-то части поблизости. Для нее, видно, платье. После войны франтить в нем будет. Пусть...

Отдал Степа платье Васюткиной и стал помогать труп выносить. На улице стояли длинные узкие сани. На них положили тетю Надю и накрыли мешковиной.

Тоня, заплаканная, выскочила на улицу и бросилась к саням, повторяя:

— Тетя Надя!.. Теперь одни мы!.. Тетя Надя!.. Одни мы!..

— Ну, хватит плакать... Домой марш!.. Теперича столько помирают, что плачь — не наплачешься,— сказала Васюткина и добавила: — Покойницу я сама схороню. Раз взялась, так сделаю!..— И потащила сани...

Тоня долго не уходила. Она стояла и смотрела куда-то вдаль, не мигая и нервно всхлипывая.

— Вот и все похороны,— вздохнув, сказал тихо Степа и тронул сестру за плечо: — Пойдем, Тоня, в дом, а то еще простынешь тут...

А дома, в пустых комнатах, было холодно, неуютно и — нет, не страшно, а как-то тяжело-тяжело...

«Где-то теперь Василий?» — подумал с тоской Степан о своем брате. О нем думала и Тоня. Ведь Василий был для них самым близким — отца и мать они потеряли еще в раннем детстве, когда Тоне исполнилось только пять, а Степе — восемь лет.

Степа хорошо помнит мать, на которую так похожа Тоня. Мать погибла во время трамвайной аварии. А отец долго и тяжело болел. Степа не забыл и того, как отец наказывал Василию: «Ты старший остаешься, на тебя, сынок, и вся заботушка о семье ляжет».

А теперь, когда Василий на фронте, а тетя Надя умерла, выходит, ему, Степе, надо о сестренке заботиться. И он подумал о той ответственности, что внезапно навалилась на него камнем.

«Хорошо хоть,— вертелось в голове,— что Тоня в детсаде работает. Все-таки паек служащего получает, а не сто двадцать

пять граммов хлеба, как выдают иждивенцам... Надо и мне на лесозаготовки пойти. Дело нужное, и паек хороший... Эх, жила бы тетя Надя, я бы на Карельский перешеек, к партизанам подался... А так — на кого Тоню оставишь?..»

Тяжело засыпал Степа в эту полную тоски ночь...

ВЫСТРЕЛ

Василию Толмачеву повезло: он попал в морскую пехоту. Но ему, как и всему соединению, не везло в другом: прошел месяц, а они еще ни разу не побывали в сражении. Бои шли где-то в стороне, за синеватыми гребнями лесов.

То нарастал, то затихал в отдалении гул артиллерийской канонады. Далеко в море шли в бой наши катера. Самолеты возвращались на свои базы после успешных налетов на вражеские корабли...

Но все это — там, дальше... А здесь, на берегу, тихо и спокойно.

— Не фронт, а дом отдыха, товарищ комиссар,— с досадой сказал однажды Василий.

Комиссар Никита Львович Кожановский, улыбнувшись, взглянул на приземистого и широкоплечего паренька.

— Много вас здесь, таких горячих, потому-то фашисты и обходят наш участок,— пошутил комиссар.

Краснофлотцы засмеялись. Они любили своего комиссара. Рассказывали, как он вместе с бойцами два дня полз по льду залива к вражескому берегу и, несмотря на ранение, первым вступил на эту землю.

— Будут, товарищ Толмачев, будут еще бои. Хватит и на твою долю,— добавил Никита Львович.

Василий все понимал и сам, но легче от этого ему не становилось. Ведь город, его любимый город в опасности! А враг прет и прет. Ведь там, в Ленинграде, с больной тетей Надей остались его брат Степа и сестричка Тоня, там его родной завод и хорошие товарищи!..

— Славные ребята! Однако во всем должна быть выдержка. Горячка только вредит,— сказал Кожановский политрукам, уходя в штаб.

День кончился, как и всегда, флотским борщом, шелестом гальки на берегу да отдаленным гулом канонады.

Поздно вечером у крыльца штаба остановился запыленный мотоциклист. Он спросил что-то у часового, быстро взбежал по ступенькам крыльца и скрылся за дверью.

Бойцы насторожились...

Но мотоциклист уехал так же быстро и неожиданно, как и появился.

Вася Толмачев, лежа на койке, ворчал в темноте:

— Это все место виновато: самый дальний бережок. Вот мы и сидим, борщом пробавляемся... Надо заявление писать, проситься куда-нибудь поближе к фронту, а то просидим тут всю войну дачниками...

Пулеметчик Игнат Стеценко отозвался из темноты:

— Ладно! Спи! Будет и нам работа...

И действительно, на рассвете подняли всех. На машинах двинулись вперед.

Кожановский сидел в головной машине. За ней на высшей скорости следовали другие. Они проскочили через перелески, миновали городские предместья и, не сбавляя скорости, прорвались в центр районного городка.

Враги в панике заметались по улицам, открыв беспорядочную стрельбу из автоматов и пулеметов.

Бойцы залегли и повели огонь по противнику.

Выдвинувшийся далеко вперед Вася Толмачев стрелял по невидимой для других цели, но результаты, как видно, не удовлетворяли его.

Он встал и выбежал на середину улицы.

В этот момент откуда-то сбоку раздался спокойный голос Кожановского:

— Толмачев! Вертай назад!

Потом добавил:

— Ты что же, хочешь врага бить, а сам без надобности на открытое место, под пули лезешь...

Василий лег на землю и подполз к Кожановскому:

— Я, товарищ комиссар, минометчиков снять хотел.

— Знаю. Да не так их снимать надо...

В это время снова заработал вражеский миномет. Мины, направляемые невидимым наблюдателем, начали ложиться все ближе и ближе.

— Пойдем! — сказал Кожановский Васе.

Прижимаясь к стенам домов, они прошли до перекрестка. Здесь комиссар лег на землю и, оглянувшись, подозвал Толмачева.

На маленькой площади, рядом с круглой тумбой для объявлений, стоял миномет. Трое минометчиков исправляли наводку и готовили к выстрелу очередные мины.

— Снимешь? — спросил Кожановский Толмачева.

— А как же! Сниму, товарищ комиссар! — уверенно ответил Вася.

— Смотри, Толмачев, бей наверняка, не горячись. А то все дело испортить можно...

Толмачев выстрелил и... промазал.

Никита Львович молча протянул руку к винтовке Толмачева. Первым выстрелом он снял наводчика, вторым — выскочившего из-за тумбы офицера и, возвратив Васе винтовку, отполз назад.

— Добивай остальных. И чтобы никого к миномету не подпускать! Наши в атаку пойдут. Понял?

— Есть! — ответил Василий, лежа с винтовкой на земле и не спуская пальца с курка.

Вот к миномету бросился фашистский офицер. Не успел он сделать и двух шагов, как упал, раненный метким выстрелом Василия Толмачева. Вслед за офицером из-за тумбы показалась каска, надетая на палку. Вася прострелил ее, выпустив целую обойму. Каска звякнула о мостовую...

Но на душе у Василия было неспокойно.

— Эх, Вася, Вася! — укорял он сам себя.— Осрамился ты на весь свет... И как это ты промазал, Вася? Как в глаза комиссару смотреть будешь?

...К вечеру бой окончился.

В городе прочно обосновался Краснознаменный полк, присланный сюда на подкрепление.

Краснофлотцы уезжали.

Все были возбуждены, делились впечатлениями, пережитыми за день.

А Вася сидел в углу машины и молчал.

Сосед Василия, пулеметчик Стеценко, заметивший необычную для Толмачева молчаливость, участливо спросил:

— Ты что же, Васенька, не ранен ли?

— Нет!

— Затосковал, значит. Братишку, сестренку опять вспомнил, так?

— Нет, не то, Игнат...

— Так чего ж ты скис? Не понимаю!

— Не понимаешь! — с досадой ответил Вася и соврал: — А зубы у человека могут заболеть?

— Зубы?.. Щось болят они у тебя некстати...— И Стеценко, недоверчиво покосившись на Васю, оставил его в покое.

А Вася думал: «Скажет комиссар о его неудачном выстреле или нет?».

Не видя дороги, не замечая и не слыша сидевших рядом друзей, приехал Василий в часть. Под предлогом зубной боли отказался от ужина.

И даже во сне видел он все того же фашиста у миномета. Вася безостановочно стрелял в него, но делал промах за промахом...

На второй день, после обеда, Кожановский устроил разбор вчерашнего боя. Бойцы расселись на скамейках, на травке, на песке и, слушая комиссара, заново переживали вчерашний бой.

— ...Атакуя врага, мы поднимаемся во весь рост и идем вперед. Это нужно, товарищи, и это приносит победу. Но если выползаешь из укрытия и появляешься на совершенно откры-

том месте, то это может принести не победу, а смерть самому бойцу...

«Ну,— подумал Вася Толмачев,— теперь ясно: сейчас про меня будет говорить. Да и как не сказать!»

— Гораздо лучше,— продолжал комиссар,— поступил боец Толмачев, когда, метко стреляя из-за укрытия, не подпускал неприятеля к миномету и помог всем нам без лишних потерь отогнать противника.

Василий Толмачев ждал упрека за промах, за хвастовство, и вдруг...

Кончив беседу, комиссар, как бы случайно, прошел мимо Толмачева.

— Ну, вот мы, Вася, и в бою побывали, и врага бить научились. Стали оттеснять врага от Ленинграда. Верно? — улыбнулся Никита Львович и, не дожидаясь ответа, отошел.

Сердце у Васи забилось быстрее.

Он не мог скрыть свою радость. Широко улыбаясь, повернулся он к стоявшему рядом пулеметчику Игнату Стеценко.

— Слыхал, что про меня комиссар говорил, а? — и Вася весело подмигнул пулеметчику.

Он снял повязку со щеки и стал насвистывать что-то веселое — зубы у него больше не болели...

СПАС

Двое суток шли бои за село, в котором Василий Толмачев знал каждую улицу, каждый дом. Сюда приезжал он в летнее время к тете Наде — маминой сестре. А теперь она в Ленинграде, вместе с То́нюшкой и Степкой. Как-то они живут там, в осажденном городе?..

Когда наши войска заняли село, Василий забежал в дом тети Нади. Он был пуст. Василий посидел немного на крыльце, закурил.

Вдруг с радостным визгом к нему подбежала собака, тощая, взлохмаченная. Конечно, это был Бас, тетин пес, хотя узнать его было трудно.

— Ох, милый! Как же ты исхудал, Бас! Как скелет, одни ребра торчат,— стал наглаживать его Василий. Вынул из кармана пару галет, кусочек сахару и отдал псу. В этот день Бас не отходил от Василия.

— Бедняга, отощал-то как,— заметил комиссар Кожановский.— Подкормить его надо.

И бойцы охотно подкармливали собаку, отделяя часть своего скудного пайка.

Но вскоре, после ожесточенной борьбы, наши войска вынуждены были оставить село. Василий хорошо знал местность. Надеясь выбраться отсюда в вечерних сумерках, он вызвался прикрывать отступление своего подразделения. С ним в пустом

тетином доме, стоявшем на краю села и вблизи от леса, остался Бас.

Василий долго и успешно отстреливался. Его ручной пулемет работал безотказно. Но вот во двор вбежал офицер, за ним — двое солдат. Толмачев успел снять офицера, но солдаты вскочили в сени. После короткой перестрелки Василий выбежал из комнаты и увидел в сенях корчившегося на полу рыжего фашиста.

— Хенде хох! (Руки вверх!) — крикнул Толмачев. Но рыжий не поднял рук, а, схватив автомат, направил его на Василия.

Толмачев пригнулся, а в этот миг пес прыгнул прямо на врага. Раздался выстрел — Бас жалобно завизжал.

В следующую секунду Толмачев расправился с фашистом и бросился к собаке.

— Бас! Милый! Ты что же? — погладил он собаку и увидел струившуюся из лапы кровь.

Но нельзя было терять ни минуты, и Василий, позвав собаку, понесся через задний двор прямо к лесу. Перебегая от камня к камню, он залегал и отстреливался. Так добрался до леса. В кустарнике он отдохнул немного, увидел рядом окровавленного пса и достал бинт.

Бас перестал визжать и все время, пока хозяин перевязывал ему лапу, смотрел на него слезящимися, преданными глазами.

Ночью, благополучно добравшись до своей части, Василий доложил о выполнении задания и занялся псом.

Бас, спасший Василию жизнь, стал для солдата дорогим существом, о котором он постоянно проявлял заботу. Да и другие бойцы ухаживали за псом, в особенности Игнат Стеценко. И все же Бас охромел, но так привязался к своему хозяину, что когда тот уходил из землянки, то начинал жалобно скулить и рвался наружу...

Прошло много дней, прошли месяцы, настала весна. Бас привык к окопной жизни и по-своему развлекал бойцов, полюбивших его.

Бывало, еще далеко от окопов едет кухня, а навстречу уже Бас несется: учуял мясной запах. Бойцы и стали говорить:

— Гляди, Бас повара встречать побежал. Значит, готовься к обеду. Примета верная...

Повар не очень баловал пса, но иногда привозил ему добрую сахарную кость. Чаще угощали Баса бойцы. Положат ему на нос галету и скажут: «Замри!» — он и не ест, ждет, пока не скажут: «Ап!».

Бойцы научили Баса таскать в зубах разные вещи. И это приводило в восторг Стеценко.

— Який умный собака,— говорил он.— Хоть и простой дворняга.

— Какой же он простой,— шутя протестовал Толмачев.— Раз дворняга — значит, дворянского роду, дворянин!..

Бойцы смеялись, а Василий поглаживал Баса, прильнувшего к его ногам. «Преданная животина»,— подумал он о псе и не ошибся.

Однажды рота Василия Толмачева пошла на штурм вражеской высотки «Ремень». И, когда после первой атаки бойцы вернулись в блиндажи, Василия с ними не оказалось. Не пришел он и к вечеру, и все решили, что их товарищ погиб в бою. Вдруг кто-то вспомнил о его четвероногом друге.

— Бас! Бас! — стали его звать, искать, но нигде найти не могли.

— Видать, и он погиб,— предположил Стеценко — самый молодой пулеметчик в части, ничуть не пряча от товарищей свою печаль.

А печалиться было от чего. Его друг Вася Толмачев остался по ту сторону реки, где окопались враги.

Что же случилось с Толмачевым?

Когда стрельба затихла, легко раненный в ногу Толмачев стал отползать к реке, как вдруг увидел двух немецких солдат и впереди них женщину с мальчиком лет трех, которого она вела за руку. На взгорочке один солдат выстрелил в спину женщине. Падая, она толкнула мальчонку, словно говоря ему: «Уходи отсюда скорее!» Но мальчик, скатившись вниз, стал карабкаться на взгорок, плача и выкрикивая: «Мама!» Земля была мокрая и скользкая от талого снега. Мальчик соскальзывал и снова безуспешно пытался взобраться наверх, к своей маме. А солдаты смотрели и хохотали. Затем тот, кто убил женщину, крикнул другому:

— Хелф им, Томас! (Помоги ему, Томас!)

Тогда солдат, все еще хохоча, поднял автомат и выпустил очередь в мальчонку.

Василий знал: вряд ли ему удастся отсюда выбраться, если обнаружит себя, но он не мог равнодушно смотреть на такое зверство и, прицелившись, скосил убийцу. Следующим выстрелом он ранил второго солдата, попытался встать и побежал к реке, но автоматной очередью был сбит с ног и покатился куда-то вниз...

Очнулся Василий в воронке, вырытой снарядом. Прямо над собой он увидел раскрытую пасть. «Волк!» — мелькнуло в голове, но Василий не в состоянии был сделать ни одного движения и снова потерял сознание...

...Минули сутки. В подразделении уже почти потеряли надежду увидеть когда-нибудь Васю. Но, к счастью, получилось поиному. Вдруг под вечер у блиндажа кто-то заскребся, потом послышалось повизгиванье.

Это был Бас, худой, как скелет.

Его стали угощать консервами, печеньем, сахаром. Слюна обильно сочилась у него изо рта, но к еде он не прикасался, а беспрерывно визжал и хватал то одного, то другого бойца за ногу.

— Бас! Поешь, милый, сахарку! Ну, ты же сладкоежка, знаем. Ну, поешь, поешь! — уговаривали бойцы. Но он не ел и продолжал жаться к выходу, будто звал людей пойти за ним.

Тогда Стеценко погладил пса и сказал:

— Он это, хлопцы, не зря за ноги нас хватает. Понимать треба! Что-то, видать, есть у него на уме. Собака — это вам не какой-нибудь подлый фашист. Она и дружбу понимает, и по-людски разуметь может...

Стеценко и еще двое бойцов пошли к командиру, рассказали ему о странном поведении собаки, и командир разрешил им пойти с Басом на розыски.

Выбежав из траншеи, Бас кинулся вперед, к речке. За ним поползли бойцы.

Так добрались они до реки. Дальше, за рекой, была полоса «ничейной» земли.

Пес бросился в воду и поплыл, оглядываясь на бойцов. Бойцы не знали, как поступить. Речка была здесь, видать, мелкая, но место это было хорошо пристреляно врагами.

Бойцы стали совещаться и вдруг увидели, что Бас вернулся. Выскочив из воды, он приблизился к ним, завизжал, запрыгал и снова бросился в воду, словно приглашая следовать его примеру.

— Який разум у собаки! — восторженно произнес Игнат Стеценко.— Она недаром нас туды тягне!

И, подумав, он добавил:

— От що, хлопци: спробую я перейти через ричку, а вы тут наготове будьте...

И Стеценко полез в воду.

Перейдя речку, он сразу на самом берегу увидел Василия Толмачева. Тот, видимо, был тяжело ранен: лежал без сознания.

Когда тяжело раненный в ногу Вася Толмачев уже в блиндаже пришел в себя, он рассказал, что это Бас приволок его к реке. Вцепившись зубами в гимнастерку, верный пес тащил его и днем и ночью, выбиваясь из сил, и не оставлял до тех пор, пока не подтянул до самого берега. И только тогда, не имея возможности перетащить через реку, поплыл за помощью...

С тех пор бойцы еще больше полюбили верного пса. А Стеценко предложил для него новое имя.

— Для такого благородного животного,— сказал он,— другое имя придумать треба. Пускай его теперь зовут не Бас, а Спас.

Бойцы согласились. А пес скоро привык к своему новому имени, и, когда бойцы его спрашивали: «Спас! Хочешь саха-

ру?» — он быстро подбегал и нетерпеливо подпрыгивал, ожидая угощения...

Но когда раненого Васю Толмачева понесли на носилках к машине, чтобы отправить в ленинградский госпиталь, Спас завизжал и бросился вслед за своим другом. С трудом удалось Игнату Стеценко вернуть Спаса. А Василий вспомнил плачущего мальчика, которого пристрелил немецкий солдат, и подумал, что прав Игнат: «Собака не фашист. Она и дружбу понимает, и по-людски разуметь может...»

В ГОСПИТАЛЕ

В красном уголке госпиталя людно. Раненые — бойцы и командиры — приходили сюда с большой охотой. Выступления писателей и артистов были для них большой радостью: они напоминали им о прежней мирной и радостной жизни, вселяли уверенность в победе над врагом.

Пришел сюда и Миша Корольков, в больничном халате, с перевязанной рукой. Он гордился тем, что находится среди взрослых воинов, раненных в боях за Ленинград, за Родину. Он радовался, что был тоже с ними, с этими людьми, о которых со сцены говорил поэт:

Пусть пройдут года, десятилетья,
Но отважных воинов родных
Будут чтить и помнить наши дети,
Наши внуки будут петь о них!

Миша хотел поаплодировать автору, но как это сделать, когда повреждена рука?

И он с завистью посмотрел на своего соседа, который громко и щедро хлопал в ладоши.

У соседа было скуластое лицо с крутым подбородком. И Мише показалось, что лицо это ему давно знакомо. И все же Миша не знал этого раненого бойца, сидевшего с ним бок о бок...

Концерт продолжался. Выступали поэты и рассказчики, певцы и танцоры.

— Здорово пляшет! — обратился к Мише его сосед, кивком головы указывая на танцора, исполнявшего украинскую пляску — гопак.— Ох и любил же я плясать! В заводской самодеятельности участвовал, призы получал. А теперь, может, больше не придется,— добавил он, глядя на костыли, что стояли рядом.

И Мише снова почудилось, что и голос соседа он тоже уже слыхал. Но когда?.. Где?..

Концерт был в разгаре, когда в красный уголок вошли Мишины друзья. Вот они остановились и сели возле двери у самого входа. Их, дежуривших на крыше госпиталя во время

ночной тревоги, пригласил сюда сам политрук Полупенко, и это ребят очень обрадовало.

Еще бы! Ведь Василия Ивановича Полупенко любили в госпитале все: и раненые, и сотрудники. Со всеми он умел поладить, сблизиться.

Рассказывали о таком случае. В госпиталь привезли тяжело раненного в руку бойца. Его нужно было срочно оперировать — отнять руку. Но раненый противился этому. «Мне,— категорически заявил он,— рука нужна, очень нужна! Я должен отплатить врагам за смерть братишки, за все!..» Тогда главный врач обратился к политруку Полупенко: «Василий Иванович! Вы, как бывший педагог, сумеете убедить раненого, что операция необходима, иначе... Словом, сами знаете...» И действительно, после короткой беседы раненый успокоился и согласился с врачами. Операция спасла ему жизнь.

Не раз ребята видели, с каким удовольствием раненые слушали беседы Василия Ивановича. Обо всем он говорил просто, понятно и с увлечением, а добрая широкая улыбка никогда не сходила с его круглого и веснушчатого лица. И все относились к нему с искренним уважением. Поэтому приглашение Василия Ивановича на концерт в госпиталь ребята считали для себя большой наградой.

Миша смотрел на своих друзей и сожалел, что они не привели с собой Тоню Толмачеву. Пусть бы тоже пришла посмотреть выступление артистов... В особенности пожалел Миша об отсутствии Тони, когда после концерта на сцену вышел политрук и сказал:

— А теперь мы приступим к премированию наших молодых друзей — активных членов бригады противовоздушной обороны госпиталя.

Василий Иванович вынул из кармана листок бумаги и стал выкликивать по списку:

— Еремеев!

— Здесь! — ответил Володя.

— Корольков!

— Здесь! — ответил с дрожью в голосе Миша, поглядывая на своего соседа; но тот лишь весело подмигнул ему: дескать, не робей, парень!

— Толмачев? — снова выкрикнул политрук Полупенко и глянул в зал.

— Здесь! — ответило сразу двое из разных концов зала. Один из тех, кто отозвался, был Мишин сосед. Он недоумевающе посмотрел в сторону двери, откуда донесся второй голос, и, краснея от волнения, тихо произнес:

— Не Степка ли?..

— Прошу, товарищи, пройдите сюда,— продолжал Василий Иванович

Миша Корольков поднялся и стал пробиваться к сцене, по-

глядывая на своего соседа. Но тот, опираясь на костыль, вытянул вперед голову и напряженно всматривался в кого-то.

Политрук Полупенко вручил подарок «За смелость и отвагу, проявленные при охране госпиталя во время ночного воздушного налета врага» сначала Мише Королькову. При этом он добавил:

— Поступок Миши Королькова достоин того, чтобы он был отмечен большой наградой. Это боевой подвиг!..

«Жаль, что Тоня этого не слышит...» — снова с досадой подумал Миша, но успокоился на том, что Степа, ее брат, видимо, расскажет ей обо всем, как тут его отмечали перед всеми бойцами в госпитале...

Очередь дошла до Степы Толмачева. Он поднялся на сцену, получил подарок и вдруг быстро соскочил вниз. Возле сцены, опираясь на костыль, стоял Мишин сосед. Он протянул Степе руку и дрогнувшим голосом произнес:

— Степушка!.. Братенник!

Степа словно остолбенел, но уже через секунду бросился к брату:

— Вася!.. Вась!..

Он прижался к брату, уронил голову ему на грудь и вдруг громко заплакал.

В зале притихли.

Минуту назад раненые горячо аплодировали, радуясь этой неожиданной встрече двух братьев — двух защитников родного города. А теперь все сразу приумолкли, услышав плач подростка.

Старший брат сказал:

— Ты это зря, Степа... Тебя вон как отмечают, как воина, а ты — в слезы...

— Вася, так я же... у нас...— начал было Степа, но так и не мог закончить.

— Ну, говори же, что случилось? — забеспокоился Василий.— Я три дня как прибыл сюда. Просил сестричку сходить к нам, узнать, как живете... А ты и сам объявился... Ну, пойдем, сядем, расскажешь мне все.

Степа вытер слезы, выпрямился и сквозь всхлипывания тихо, но внятно ответил:

— Теперь мы тут... с Тоней... одни... остались. Тетя Надя... умерла.

Они сели на стулья. Кругом было тихо.

Раненые осторожно поднимались с мест и уходили из красного уголка, расстроенные и полные нерадостных мыслей о своих родных и близких, о судьбе которых трудно узнать в дни такой войны...

Братья сидели несколько минут молча. Но вот подошел и подсел к ним политрук Василий Иванович, вздохнул, глянул на Степу и сказал:

— Вот и у меня такой же, как ты, на Украине остался, в ремесленном училище. Знать бы, где он нынче!.. К немцам ли попал, в партизаны ли ушел?.. Может, и в живых-то его уже нету...

Степа слушал Василия Ивановича, и свое личное горе казалось ему уже не таким тяжким.

— Что ж, тезка,— обратился политрук к Василию Толмачеву,— пора братишке твоему домой собираться, поздний час. Завтра снова встретитесь, наговоритесь, хлопчики...

Глава третья
ГЕРОИЧЕСКИЕ БУДНИ

БАБУШКА

Володя Еремеев сидел на краю бабушкиной постели и, прислушиваясь к артиллерийской канонаде, то и дело громко говорил:

— Это бьют кронштадтские, наши...

А затем добавлял тише, чтоб бабушка не слышала:

— А это немцы...

За время войны Володя научился различать: стреляют ли по городу, то есть враги, или из города, то есть наши. Но бабушка боится стрельбы. Ее квартиру на Петроградской стороне разбило снарядом. Бабушку тоже поранило осколком. Тогда Володин отец сказал: «Надо бабушку переселить к нам: и ей лучше, и тебе веселей будет, когда мне на заводе задержаться понадобится».

И вот теперь она больная лежит на Володиной кровати и при каждом выстреле стонет и крестится.

— Сохрани нас господи! — шепчет она, и глаза ее становятся просящими, как у нищего. Володя не любил такие бабушкины глаза. Он любил ее настоящие глаза — светлые, добрые и всегда веселые. Потому, быть может, желая успокоить бабушку, он при каждом выстреле говорил:

— Это бьют наши, кронштадтские...

Бабушка, видимо, успокаивалась, так как переставала креститься и, приподымаясь на локтях, смотрела в заколоченное досками окно, приговаривала:

— Так их, так их, псов поганых, гоните их со двора нашего, родненькие мои...

Глаза у бабушки менялись, они становились добрыми, ласковыми. И Володя был доволен. Он вставал и, как это делал отец, засунув руки в карманы пиджака, расхаживал по комнате.

— Нам, бабушка, бояться нечего,— говорил он, как взрослый ребенку.— У нас в Кронштадте такие пушки есть, что они за сто километров стреляют и попадают в самую точку, куда надо. И самолеты у нас хорошие. Вот вчера отец мне сказал,

что самолеты и пушки у нас лучше, чем у них. И вообще, бабушка, фашистам все равно будет капут, вот увидишь...

— Правда, миленький, правда,— уже совсем успокоенная отвечала бабушка, но тут же виновато добавляла: — А вот когда бухают пушки, мне все-таки страшновато... никак не привыкну...

Бабушка о чем-то задумывалась и засыпала... Вот и сейчас она заснула. Теперь Володя может уйти по своим делам. А дел у него много! Надо проверить: есть ли в бомбоубежище кипяченая вода, в порядке ли аптечка, на месте ли дежурные, осмотреть чердаки и, наконец, сходить в булочную за хлебом.

Тихонько, на цыпочках, чтоб не разбудить бабушку, вышел Володя из комнаты. Быстро сбежал с четвертого этажа.

Во дворе было тихо. Вечерние сумерки окутывали здание. У ворот на дежурстве стоял дедушка из шестнадцатой квартиры.

— Здравствуйте, Матвей Яковлевич! Как у вас сегодня дежурство проходит? Все в порядке?

— Здравия желаю нашему начальнику,— улыбаясь, ответил старик.— Я, как старый солдат, привык к порядку,— все с той же улыбкой громко продолжал он.— Дозвольте доложить: никаких чрезвычайных происшествий за время моего дежурства во вверенном мне объекте не произошло! — Затем уже обычным голосом спросил: — А что нового у вас? Как бабушка поживает?

— Ничего,— ответил Володя,— бабушка поправляется, только...— Володя хотел сказать, что его бабушка канонады боится, но ему стало стыдно за нее, и он, помедлив, закончил: — Только не лежится ей. Пойду, говорит, я на улицу да подежурю у ворот. Вот, говорит, Матвей Яковлевич какой старик, а дежурит. Чем я хуже... у меня, Матвей Яковлевич, бабушка что надо, она ничего не боится...

В это время снаряд со свистом пролетел над домом и, разорвавшись где-то за углом, поднял кверху груду асфальта, который, раздробившись, полетел вниз. Старик увлек за собой Володю под арку ворот и, словно ничего не произошло, продолжал разговор:

— Твоя бабушка права. Зачем бояться? Если бояться, то разве станет легче? Она молодец, твоя бабушка.

Володе было приятно, что хвалят его бабушку, но ему надо было спешить, у него еще много дел. Надо, пожалуй, сначала сходить за хлебом и заодно посмотреть, где упал снаряд.

— Ну, Матвей Яковлевич, я пошел в булочную, скоро вернусь,— сказал Володя и вышел из-под арки на улицу. Он пересек дорогу, повернул налево и очутился на Литейном проспекте. Тут он увидел большую воронку, выбитую дальнобойным снарядом. Милиционер наводил порядок, то и дело обращаясь к собравшейся публике:

— Граждане, прошу разойтись. Сейчас аварийная бригада приедет, а вы тут скопились. Прошу разойтись...

Володя пошел дальше, к булочной. Но хлеба в булочной не оказалось. «Хлеб будет через час»,— сказали ему. И Володя пошел в следующую булочную. Там хлеб был, и очередь небольшая. Володя встал в «хвост». Незаметно продвинулся к прилавку. Он уже начал доставать из кармана хлебные карточки, как вдруг услышал сигнал воздушной тревоги. Не задумываясь, Володя выскочил из магазина. Улица была почти пустынной. Милиционеры указывали прохожим, где можно укрыться. Но Володя бежал домой, нарушая всякие правила. Милиционеры свистели, останавливали его, но мальчик, оправдываясь, объяснял:

— Товарищ милиционер, у меня там бабушка больная одна осталась. Мне близко. Вот тут, сразу за углом. Товарищ милиционер...

Но милиционер и слушать не хотел.

— Заходи под ворота да скорей в бомбоубежище! Что ты, порядков не знаешь, что ли? А еще пионер с красным галстуком... Дисциплина где? Ну, быстро!

Володя направился к ближайшим воротам, но, когда милиционер отвернулся, снова бросился бежать. «Нельзя же мне, в самом деле,— думал он,— оставить бабушку во время тревоги без всякой помощи».

Добежав до своей улицы, Володя увидел, что дом его горит. Еще быстрее помчался мальчик, вскочил во двор и за несколько секунд поднялся по лестнице на четвертый этаж.

В полутемном коридоре он несколько мгновений постоял в нерешительности: зайти ли ему сначала к бабушке или повернуть на чердак. Но, видя, что пожар их квартире пока не угрожает, бросился к чердаку. На чердаке было светло от пожара, и Володя сразу увидел Матвея Яковлевича. С лопатой в руках, он стоял у окна. На лопате лежала зажигательная бомба. Быстрым рывком выбросил он бомбу из окна во двор.

Другие люди, различить которых сразу не удалось, ломали горящую крышу. Володя бросился к чердачному окну и выскочил на крышу.

— Товарищ начальник,— услышал он за собой шутливый и вместе с тем встревоженный голос Матвея Яковлевича,— разве так можно? Куда полез, там же вся крыша горит!

И действительно, крыша во многих местах горела. Вдруг мальчик заметил вблизи себя зажигательную бомбу, наполовину застрявшую в кровельном железе. Надо бы ее выковырять ломом, но его под руками не было, а медлить нельзя. И Володя, как его учили в бригаде противовоздушной обороны, схватил бомбу за стабилизатор, вырвал ее голыми руками и затем ногой столкнул с крыши.

Он обжег руки, но не заметил этого.

Мальчик вернулся на чердак и вместе со всеми продолжал тушить пожар.

Кто-то уже успел подвести к самой крыше пожарный рукав, и мальчик, схватив его, стал направлять струю воды поверх огня, как заправский пожарник. Володе показалось было, что пожарный рукав подала ему бабушка, но, обернувшись, он уже никого вблизи себя не увидел.

Вскоре огонь пошел на убыль, затем и вовсе погас, только пар клубился над дотлевающими балками.

Люди стали расходиться. Юный пожарник устал, он почувствовал боль в руке. Вытер рукавом пот со лба и, осмотрев обгорелую почерневшую крышу, он вдруг заторопился: вспомнил о бабушке и быстро пошел к выходу.

И тут, у выхода из чердака, кто-то вдруг осторожно тронул мальчика за рукав:

— Погоди, Володенька...

Он оглянулся и увидел свою бабушку и Матвея Яковлевича. Пальто бабушкино было во многих местах прожжено, как и шуба Матвея Яковлевича.

«Значит, и она тут была,— подумал удивленный Володя.— И она, больная, пришла помогать тушить пожар... Неужели не побоялась?»

Но прожженное пальто не оставляло никаких сомнений. Да, его бабушка пришла сюда, не побоялась!

— Что это у тебя, родненький, руку обжег? — спросила ласково бабушка.

— Пустяки,— ответил смущенный и растерявшийся Володя.— Ты небось устала. Пойдем домой.

Он пропустил вперед бабушку и, обернувшись к Матвею Яковлевичу, с гордостью сказал:

— А что, Матвей Яковлевич, правду я говорил — моя бабушка ничего не боится. Бабушка у меня что надо, боевая!.. Одним словом, нормально! — добавил он, подмигнув старику, и быстро зашагал по коридору.

ВОСКРЕСНИК

Апрельское солнце почти не грело.

Ледяными лапами город охватила зима. Она опушила серебристым инеем кусты, деревья улиц и парков и, словно светящейся краской, покрыла изморозью гранит зданий и бронзу памятников. Это было красиво, но не радовало людей: истощенные постоянным голодом, они особенно тяжело переносили жестокие морозы.

Но все же в воздухе уже чувствовалось дыхание приближающейся весны.

К полудню подтаивал снег на крышах, а на солнечной стороне, на улицах и во дворах появились дети, старательно укутанные. Дети и старики с особенным нетерпением ждали прихода весны и тепла...

Но тепла не было. Весна запаздывала, и в квартирах царствовал холод.

В нашем доме был детский сад. Здесь не топили уже несколько дней, дети спали в одежде.

И вот однажды старшие ребята собрались на лестничной площадке и стали решать вопрос: как достать дров для детсада?

Тоня Толмачева предложила пойти по квартирам и просить по полену.

— Конечно,— сказала она,— каждый знает, что в садике живут дети фронтовиков. Никто не откажет. Тут только надо суметь хорошо объяснить...

Но кто-то из ребят возразил:

— Дать-то дадут, да ненадолго этих дров хватит. Надо достать побольше, чтобы не на раз...

— Пока надо на раз,— поддержал Тоню Володя Еремеев,— а потом мы добудем сколько надо. Нормально!..

— Добудем,— иронически вставил все тот же парнишка,— сам небось в холоде сидишь...

— Ну и что ж? Сам в холоде, а для ребятишек достанем... И все будет нормально! — заявил Еремеев тоном, не допускающим возражений.— Надо только, чтобы не поленились,— и дрова добудем,— добавил он.— Мы с Тоней уже договорились. Которые из нас захотят, те пускай к завтраму с утра сюда приходят. Вместе пойдем.

К вечеру Володя обошел всех своих друзей, но никого не застал дома, а от Тони Толмачевой узнал, что ее брат Степа уехал на лесозаготовки. Сказал, что вернется не раньше чем через две недели.

Настроение у паренька испортилось. Он повернул домой, но у самых ворот встретил Мишу Королькова.

— Хотел уже уходить,— сказал Миша.— Попрощаться с тобой пришел...

— Что же, и ты на лесозаготовки собрался? Может быть, сговорились вы с Толмачевым?

— Да нет...— Миша покраснел.— Мать... с заводом, значит, эвакуируют... Завтра собираться надо... уезжать будем.

— Выходит, расстаемся? — с чуть заметной дрожью в голосе спросил Володя. Затем, не глядя на товарища, добавил: — Жаль. Распадается наша бригада...

Миша поближе подошел к Володе и тихо, словно он в чем-то виновен, сказал...

— Понимаешь... с заводом... Нужно это, чтобы оружие было... Потому и едем.

— А я к тебе за делом шел,— сказал приглушенно Володя.— Я посоветоваться хотел.

— О чем же?

— Да так, дело...

— Ну, какое же?

— Теперь уже не надо... Было одно дело.

— Вот зарядил: «Дело... дело». Ты толком рассказывай...

Володя пошел рядом с Мишей и рассказал ему о детском саде, о дровах и о своем плане.

— Я уже договорился с бригадиром. Митрофан Алексеевич, из нашего дома. Высокий такой, которого мы «Дядей Степой» зовем. Так вот он со своей бригадой нынче на Моховой работает в домах, которые недавно разбомбило. Мы ему помогать будем раскапывать, а он нам за это для детсада досок, бревен даст. Плохо только, что ребята наши уехали. Вот и ты уезжаешь... А у нас во дворе, кроме меня, только двое и смогут, а то все малышня...

Миша выслушал все до конца и спросил:

— А когда вы туда работать пойдете?

— Когда же, завтра и пойдем.

— Выходит, субботник устраиваете?

— Воскресник. Завтра воскресенье...

— Ну, да это все равно...

Миша задумался.

— Ладно,—сказал он,— с тобой не прощаюсь. Еще встретимся до отъезда... Мне ехать вечером...

И он ушел.

Володя Еремеев остался один у своих ворот на потемневшей улице. Он долго смотрел Королькову вслед, пока тот не свернул за угол.

Трудно было расставаться с другом. Встретятся ли они еще когда-нибудь?..

На следующий день Володя проснулся рано, оделся потеплее и собрался уходить.

— Ты куда ж это, Володенька, в такую рань? — спросила его бабушка.

— На воскресник,— ответил Володя,— работать будем... дрова для детсада заработаем...

— Где же это, миленький, вы работать-то будете? — заинтересовалась бабушка.

— На Моховой, у Митрофана Алексеевича...

— Ага. Так, так... Потеплее оденься. Да вот шарф отцовский надень. Холодно-то как...

— Ладно, бабушка, надену.— И он, обмотавшись шарфом, пошел во двор. Там его уже ожидала Тоня Толмачева. Затем пришли еще трое...

Митрофан Алексеевич встретил ребят шуточкой:

— Вот и моя бригада явилась. В полном составе... Ну, что ж, принимайтесь за работу...

Он раздал лопаты, ломы, и работа началась.

Горячо взялись ребята за дело. Из груды обломков вытаскивали уцелевшие кирпичи и тут же, во дворе, складывали их квадратной башенкой, выкапывали из-под щебня обгорелые доски и расколовшиеся балки. Незаметно проходило время. От усталости заныли суставы...

— Отдохните малость, товарищи ударники,— сказал Митрофан Алексеевич, и ребята пошли в дровяник. Там стояла маленькая железная печка-«буржуйка» и было тепло.

На печке стоял старенький чайник без крышки, в котором булькала и пузырилась вскипевшая вода. Митрофан Алексеевич достал из сундучка две кружки и две пустые банки, поставил их перед ребятами.

— Побалуемся, что ли, кипяточком,— сказал он, разливая кипяток в посуду и кладя перед каждым по крохотному кусочку сахару. Он знал, что во многих семьях и кипяток считался редкостью, так как не только дрова, но и воду трудно было достать.

Не успели ребята начать «чаепитие», как раскрылась дверь и в дровяник вскочил Миша Корольков.

— Еле вас разыскал,— сказал он, запыхавшись.

Володя никак не ожидал увидеть здесь Мишу.

— Ты же уезжаешь,— сказал он.— Сегодня уезжаешь, да?

— Сегодня! — ответил Миша.

— Зачем же ты пришел? Тебе бы в дорогу готовиться...

— А что мне готовиться? У меня до вечера вон еще сколько времени. Я и пришел попрощаться.— Миша посмотрел на Тоню, потом подсел к Володе.— На прощанье с вами поработаю...

Сердце у Володи сильно забилось от радости, глаза его заблестели...

«Эх, Миша, друг!.. Молодец, Миша!» — хотел он сказать, но ничего не сказал, а только крепко пожал товарищу руку...

Когда закончили работу, Володя забеспокоился:

— Что же это мы, ребята, салазок не взяли? Как же мы теперь дрова перевозить будем? Миша, Тоня, пошли за салазками!

Они втроем выбежали со двора и вдруг остановились у самых ворот. Удивленные, они увидели: Матвей Яковлевич, Володина бабушка и заведующая детсадом — все с саночками — приближались к воротам.

— Здравия желаю, товарищ начальник! — сказал Матвей Яковлевич, улыбаясь.— Лошади прибыли. Грузчики тоже. Транспорт в полной готовности. Разрешите грузить?..

Жить надо с толком,— часто говорил отец. Володя любил слушать его, в особенности когда тот рассказывал о своем отце и деде — о «потомственных токарях Еремеевых».

Вот уже больше недели, как отец не ходит на завод: обессилел от голода и слег.

— Дистрофия! — сказал врач.— В общем, «голодная болезнь». ...Надо усилить питание... если есть возможность.

— Какое нынче может быть усиленное питание? Вот отдохну маленько, и снова на завод. Мы, Еремеевы,— «рабочая косточка», крепкие! — говорил отец.

Теперь он часто и подолгу беседовал с Володей. И все об одном:

— На завод сходи, Володя, делу там научишься, за моим станком станешь... Плох я что-то. Видать, старею. А ты молодой, жизни в тебе много. На заводе я уже договорился с Иваном Ивановичем. Толковый мужик, слушайся его. Он и меня, знаешь ли, в люди выводил. Чудит он порою, но это от годов — стар... Ты на него не обижайся.

Рассказывая о профессии токаря, отец так увлекался, что, казалось, забывал даже о своей «голодной болезни», которой тогда в Ленинграде болели многие.

— Наше дело токарное требует, знаешь ли, и умения, и охоты. Вот берешь кусок металлического вала и начинаешь его резцом обтачивать. Смотришь: вьется, сползает темная стружка — и уже на станке не черный, а светлый блестящий вал... Потом и сам удивляешься, какие вещи из того простого вала получаются: сложные, красивые, отполированные — как зеркало.

Володя слушал отца внимательно, не задавая вопросов, хотя не всегда понимал, почему именно токарное дело самое интересное. И все-таки он не удержался и однажды задал этот вопрос:

— Да кто же того не знает! — воскликнул отец. Он глянул на сына с искренним удивлением и продолжал: — Раньше говорили, что главное для рабочего — сила. Мол, «сила есть, ума не надо»... В наше время поговорка устарела: в любой профессии — механизация, мозговать, значит, надо. А в токарном деле и раньше так было: без смекалки мастерства не добудешь. На станке, знаешь ли, все сделать можно: точить и сверлить, строгать и шлифовать... А секреты токарного дела у нас из рода в род передаются. Вот и я хотел бы передать тебе все, что от отца и деда узнал, да не знаю, успею ли?..

Володя, как мог, успокаивал отца.

А на завод ему и самому хотелось, но пугали возможные неудачи, новая обстановка, строгий мастер Иван Иванович, о котором рассказывал отец...

И все-таки Володя Еремеев набрался храбрости и однажды утром отправился на завод.

Иван Иванович действительно оказался хоть и ворчливым, но хорошим стариком. С каждым днем Володя Еремеев все больше и больше разбирался в тонкостях токарного дела. Он радовался своему малейшему успеху. Но самое приятное его ожидало дома.

Отец подробно расспрашивал: на какой работе был, сколько деталей сделал, как затачивал резцы? Советовал, как лучше выполнить ту или иную операцию.

А в заключение беседы всегда похваливал:

— Хорошо у тебя дело идет. Кровь у тебя наша, горячая... И голова смекалистая. Запомни: делу научишься — всегда в почете будешь...

Придя с работы, Володя умывался, садился на табурет у отцовской постели и, разделив на троих принесенную из заводской столовой котлету, беседовал с отцом.

Бабушка давала отцу сладкий чай, а сама с Володей пила пустой кипяток... Володя и бабушка всегда старались положить больному и больший кусочек хлеба. Но делали они это так, чтобы тот не заметил...

Вечером сидели долго. Слушали последние известия по радио и ложились спать.

Утром Володя вставал раньше всех, приносил из подвала дрова, затапливал печь.

Просыпался отец. Он слушал по радио сообщения о боевых действиях наших войск, беседовал с сыном.

— Правду ли говорят, что трамваи уже пошли? — спросил он однажды.

— Правда, батя. Пошли,— ответил Володя и стал собираться на завод.

— Нехорошо это, в такое-то время дома лежать,— говорил отец и добавлял: — Вот чуть ноги мои задвигаются, так и я с тобой! Вместе на завод ходить будем...

Отцу становилось легче. Он уже потихоньку стал бродить по комнате.

Сын увидел, обрадовался, обнял отца. Но на душе у него было неспокойно. Вот уже несколько дней он приходил домой грустный, озабоченный.

Отец заметил эту перемену и наконец спросил:

— Давай, сынок, начистоту: что случилось? От меня-то ничего скрывать не надо!

Володя понял: отец действительно прав, и рассказал ему обо всем.

— Поставили меня, значит, на другой станок... и на другую операцию... Четвертый день ничего сделать не могу... Норму даже не выполняю... Мне уж и Иван Иванович пособлял, советовал, а я, что дубина,— ни с места...

— Та-ак,— произнес отец,— понятно...

В этот вечер заснули они очень поздно.

Утром Володя чуть не проспал. Не зажигая коптилки, быстро собрался и, выбежав на улицу, поскорее вскочил в трамвай.

«Сегодня обязательно выполню норму,— думал паренек.— Попробую, как отец советовал, обтачивать кольца на оправке, по нескольку штук сразу...»

На завод Володя пришел к самому началу работы.

...Когда он вошел в цех, то увидел, что около его станка возится какой-то человек.

Володя перескочил через кучу деталей и быстро зашагал к своему рабочему месту. Но уже скоро по согнутой спине, по резким движениям рук и по другим мелким, трудно объяснимым признакам он узнал этого человека.

То был его отец...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Что было дальше

Весна все же победила жестокую зиму. Солнце растапливало обильно выпавшие снега. Захламленный за зиму город нужно было очистить и привести в порядок.

На расчистку разрушенных зданий, улиц и площадей выходили в первую очередь все, кто не работал на заводах и фабриках. Среди них, конечно, были и наши знакомые: Матвей Яковлевич и Володина бабушка, дворничиха Васюткина и Тоня Толмачева. Бывал с ними и Володя Еремеев, но реже: ведь он работал с отцом на заводе, он стал настоящим токарем!

Остался в Ленинграде и Степин брат, Василий Толмачев. После операции нога у него не сгибалась, и пришлось ему сидеть дома, с Тоней, которая по-прежнему помогала няням в детском садике. А Степа?..

Куда девался Степа

Когда Степа Толмачев узнал о том, что Василий не сможет вернуться в ряды защитников Родины, он твердо решил пойти на фронт — заменить брата. Но как это сделать, если он еще и паспорта не имеет?..

Степе казалось, что будь у него паспорт, он сумел бы уговорить командира взять его в часть, а потом и на деле доказал бы, чего он стоит!..

Но все это — мечта. Не помог ему и госпитальный политрук Василий Иванович Полупенко. Он сказал:

— Это, хлопец, хорошо, что сердце у тебя горячее, но погоди, и на твою долю геройских дел хватит...

Тогда Степа решил: «С Тоней останется Василий. Значит, мне можно уйти пока на лесозаготовки. Сказал же товарищ Полупенко, что это очень важная работа... А там и на Карельский перешеек перемахну, к партизанам. Уж они-то меня обязаны принять!..»

Так он и сделал. Партизанам он сказал, что нет у него в Ленинграде ни отца, ни матери и что хочет он отомстить за брата.

Взял его в свой отряд «командир И». Говорили, что он еще недавно служил в морской пехоте, но миной ему оторвало кисть. Тогда он организовал отряд и действовал по тылам противника. Чтобы враги не могли узнать, кто командир, его называли не по фамилии, а просто «командир И».

Степу Толмачева командир встретил в лесу, возвращаясь на свою базу после удачного разгрома вражеского патруля и захвата обоза.

Беседуя с юным партизаном, командир сказал:

— Подожди, подожди-ка, Степан Толмачев! А як твоего брата звуть?

— Василий,— ответил Степа и увидел, как командир переменился в лице.

— Василий!.. Ото ж я сразу подумал: дуже знакомое лицо... Здорово же ты, Степан, на своего братана похожий! А это же ж мой лучший друг-товарищ, в морской пехоте служили мы с ним разом,— сказал командир, затем, помолчав, тихо добавил: — В нашем деле, хлопец, всякое бывает... И, если убьют меня, ты Василию обязательно привет передай от Игната, от пулеметчика Игната... Фамилию мою он и сам знает.

Эшелон уходит на Урал

Это был последний рейс наших машин по льду Ладожского озера — по «дороге жизни», связывавшей блокированный Ленинград со всей страной.

Это была поистине дорога жизни! Когда город со всех сторон окружили враги, наши люди нашли выход: на льду Ладожского озера стали расчищать снег, который высокой стеной вырастал справа и слева от дороги. Получилось что-то вроде снежной просеки, по которой мчались взад-вперед машины: одни везли в Ленинград шоколад, масло, сахар для детских учреждений и больниц, другие, шедшие им навстречу, вывозили из блокированного города больных... Многим-многим ленинградцам спасла тогда жизнь эта дорога.

А в апреле движение по «дороге жизни» стало более затруднительным: от участившихся вражеских артиллерийских обстрелов в разных местах возникали провалы — воронки, а от пригревавшего днем солнца на льду появлялась вода...

С трудом завершила свой путь автоколонна. Из машин выхо-

дили изможденные ленинградцы. Они стали устраиваться в пустых товарных вагонах приготовленного для них поезда.

В комнатке с надписью «Эвакопункт» было холодно. Люди лежали вповалку, прямо на полу. Это были больные. Их не успевали уносить в госпиталь.

Были тут и ремесленники, одни, без отца и матери. Их везли в тыл, на заводы и фабрики, где так нужны их молодые, но уже умелые руки.

«А мне повезло. Я счастливый: со мной мама едет, заботится обо мне»,— подумал Миша Корольков, жадно доедая теплую похлебку, которую мать принесла ему из столовой эвакопункта.

Через несколько часов к составу подцепили паровоз. Без гудка двинулся он вперед и потащил за собой вагоны с людьми и заводским оборудованием.

Где-то громыхала артиллерия, но с каждым часом стрельба становилась менее слышимой, а на второй день и вовсе заглохла.

Миша Корольков мысленно попрощался с любимым городом, с друзьями. Он уезжал все дальше и дальше от фронта. Эшелон уходил на Урал...

СТАНИСЛАВ ГАГАРИН

МЫ—РУССКИЕ

Рассказ



Алексей Степанович Громов собрался лететь в Мурманск, в командировку. Когда уложил свои вещи и оставалось лишь позвонить в агентство — заказать билет, он предложил дочери отправиться вдвоем.

Но Ленка отказалась наотрез.

— Папа, не могу, спасибо, конечно,— сказала она.— Но, понимаешь, мы с ребятами на все каникулы в поход собрались. Может, в другой раз как-нибудь...

И Громов, в душе огорченный отказом, не стал уговаривать ее, не стал рассказывать, что ему так хотелось побывать в тех местах именно с нею.

Алексею Степановичу казалось, что тогда установился бы с дочерью особый контакт. иная, помимо родственной, связь, необходимая, когда дети становятся взрослыми и отдаляются от отцов, а те мучительно ищут пути, по которым завязалась бы дружба, дружба на равных.

С некоторых пор Громов стал считать, что такая дружба могла бы возникнуть между ним и Ленкой в Мурманске. И не потому, что он воевал здесь четверть века назад. Нет, Громов хотел, чтобы дочь увидела его восемнадцатилетним парнем, длинным и нескладным в тесноватом комбинезоне. Таким был он в сорок третьем году, когда впервые поднял свой Ил в боевой вылет над Варангер-фьордом. Тогда он лишь на три года был старше теперешней Ленки и поэтому ближе ей, понятнее, ведь девчонки взрослеют раньше.

Весна выдалась неровная. Оттепели сменялись морозами, стояли туманы, закручивала мокрая пурга, и вылететь Громову из Москвы удалось лишь на третий день. Ожидание измучило его.

Громов то и дело справлялся у диспетчера о погоде. И за эти долгие часы он так много думал о предстоящей встрече с прошлым, так часто представлял первые минуты своего пребывания на кольской земле, что духовный подъем, тихая радость от придвинувшейся реализаций давних планов сменились усталостью, равнодушием и всплывшим из глубин подсознания желанием: а не бросить ли эту затею?

Сплошная облачность тянулась по всему маршруту, и только незадолго до посадки с крыльев самолета стали срываться серобелые хлопья и внизу проявились сопки.

Два часа полета помогли Громову вернуть то радостное нетерпение, в котором пребывал в первый день сборов в дорогу. Наконец-то он летит в Мурманск.

Алексей Степанович забыл о недавней нервозности, о двух днях звонков по телефону и безнадежно заплаканных окнах, куда стучалась теплая метель, закрывшая аэродромы северных и центральных районов страны. Он забыл про свое опасение, что в его научно-исследовательском институте узнают о погодном барьере и их шеф, у которого семь пятниц на неделе, вдруг

забьет отбой и отменит не такую уж необходимую для их фирмы командировку.

Теперь уж ничто не могло вернуть в Москву идущий на посадку самолет.

И Громов заволновался, сознание метнулось сквозь минувшие годы, он внутренне подобрался будто у трапа его будет ждать командир полка и Алексей Степанович вытянется перед ним, приложит руку к сбитому на ухо шлемофону и доложит о вылете, длившемся четверть века, но он тотчас слабо усмехнулся, отвернувшись от иллюминатора, потому что знал: никто его не ждет в порту, да и времени подвести итог тому, что свершилось в четверть века в его жизни, у Громова уже не достанет.

Так он и сошел по трапу, незаметно улыбаясь, не быстро и не медленно шагая по ступеням трапа. Сбился с попутчиками в компанию, взяли такси и поехали в Мурманск по левому, если смотреть на выход в море, берегу залива, сначала в самый южный угол его, потом по восточному краю.

Еще из Москвы Громов заказал место в гостинице и попросил таксиста остановить машину, едва увидел знакомые кварталы центра.

Центр почти не изменился, здания были прежними, только за корпусами не стало бараков. Город разбежался в стороны. Подняв голову, Алексей Степанович увидел, как громоздились на сопках зеленые, розовые и голубые дома, и та, единственная в годы войны, настоящая улица Мурманска стала наряднее, веселее, и полярное солнце, разогнавшее к полудню облака, прошивало разноцветное кружево из камня золотистой паутиной.

Не расспрашивая прохожих, Громов добрался до гостиницы «Арктика», со страхом глянул на толпившихся в вестибюле людей, но заказ его быстро нашли, вежливо извинились, что не могут дать отдельный номер. Праздник Севера, спортсмены, мол, да иностранцы.

Громов не спорил и через двадцать минут стоял в пустой комнате на шестерых и ждал, когда горничная сменит белье на его койке в левом углу.

«Вот и приехал,— подумал Громов, когда остался один и присел к столу, не раздеваясь,— надо идти».

Но он не знал еще куда пойдет, что будет делать, и если б спросить Алексея Степановича, зачем он сюда стремился, то он не смог бы связно ответить. Конечно, у него есть задание из института, но решить этот вопрос можно и по телефону, не выезжая из Москвы. Нет, если бы не встреча с Андреем Басовым в позапрошлом году...

Алексей Степанович знал, что Андрей в Москве, но свидеться им не доводилось: все дела — суета сует. Столкнулись случайно в метро, потом не расставались весь вечер, вспоминали

всех ребят, что лежат в мерзлой земле или на дне Варангер-фьорда.

— Ты знаешь, всем им в Сафонове памятники есть,— сказал Андрей, когда прощались,— каждому.

Тогда вот и кольнула мысль Алексея Степановича, что столько лет прошло, а он на могилу друга не съездил. А может, не пришло в голову потому, что зримой могилы нет у Вани, может, потому...

А теперь Андрей про памятники сказал. «Поеду,— решил Алексей Степанович,— отпуск возьму и поеду».

Но подоспел отпуск, и Ленке купили пианино, у девочки обнаружились музыкальные способности. Деньги на инструмент были отложены раньше, но их не хватило. Громов добавил из отпускных, и осталось только на прожитье. Он отправил жену на юг, а сам просидел в Опалихе на даче, еще и работу со стороны взял.

Но, слава богу, все это теперь позади, и Громов приехал повидаться с другом, хоть и пришлось это сделать за государственный счет.

Он поднялся и вышел. Закрыл номер, отдал ключ и стал спускаться. Навстречу, весело галдя, шли хоккеисты в желтой форме, с большими буквами «СУОМИ» на спине.

Он проводил их взглядом, рослых, белобрысых парней, и, с сочувствием посмотрев на тщетно ожидающих местечка, толкнул тяжелую дверь.

Миновав почтамт, Алексей Степанович повернул за угол и через сотню-вторую шагов подошел к кафе, которое называлось «Юность».

Он решил, что не худо заправиться и собраться с мыслями за едой, и уже стоял в фойе, готовясь снять пальто, когда вдруг услышал:

— Леша?! Какими судьбами?

Громов повернулся на голос.

Это был Скуратов. Московский писатель и журналист, бывший штурман дальнего плавания, человек многое повидавший в жизни, умевший ладить с людьми и всюду чувствующий себя как дома. Он был моложе Громова, воевать ему не пришлось, но они были дружны. Скуратов особенно внимательно относился к бывшим фронтовикам и всегда сожалел о том, что не пришлось ему разделить их судьбу.

Он потащил едва успевшего раздеться Громова к своему столу, там сидели уже трое: один был местным газетчиком, а два других в морской форме — товарищи Скуратова по мореходке.

Громова заставили сесть за стол, заказали ему бифштекс, а он, улучив минутку, сказал Скуратову:

— Рассказ твой видел.

— Где?

Громов назвал одну из центральных газет.

— Значит, дали,— спокойно сказал Скуратов.

Он произнес эти слова так равнодушно, что Алексей Степанович слегка обиделся: вот так, сообщил человеку такую приятную новость, а ему хоть бы что, бровью не повел. Но обида не задержалась.

Скуратов принялся расспрашивать Громова, как он здесь и зачем. Алексей Степанович сказал, что есть дела по службе, и потом добавил:

— И посмотреть хочу, как все стало. Ведь воевал в этих краях.

Тут Скуратов перебил его, стал рассказывать ребятам, что Громов — морской летчик, штурмовик, и вдруг замолчал, внимательно глянул на Алексея Степановича, словно осенила его неожиданная мысль.

— Ладно,— сказал он,— помогу, если не возражаешь. За мной по журналистским делам машина закреплена, можем все объездить...

Алексей Степанович вдруг почувствовал себя легко и свободно. Сама собой отпала забота искать каких-то людей, кто разрешит ему побывать в местах своей бывшей службы, не придется много раз объяснять, зачем он здесь и что ему нужно. Рядом Скуратов, он все о Громове знает, и вот теперь, когда неожиданно оборвал рассказ и предложил помощь, теперь Скуратов, наверное, понял его, и может быть, лучше, чем понимает себя сам Алексей Степанович Громов.

...Машина поднялась на перевал, и далеко внизу Громов увидел сиреневую воду гавани.

— Вот и Ваенга,— сказал водитель.— По-новому называется Североморск.

На большой скорости он повел серую «Волгу» вниз, и Громову почудилось на миг, что это он сам заходит на второй круг. Но ощущение было чересчур мимолетным, оно легко исчезло.

— Давай в газету завернем,— сказал Скуратов.— Расспросим, как и что, глядишь, найдем твоих однополчан.

У Громова как-то и в мыслях не было, что кто-нибудь из его ребят продолжает служить, а ведь и в самом деле... Когда стала реальной такая встреча, у Алексея Степановича перехватило горло.

...Он загорелся над Тюва-губой, пытался сбить пламя, но ничего не вышло. Подтянул повыше, приказал стрелку прыгать, потом помедлил, отвел машину так, чтоб не рухнула куда попало, и прыгнул сам.

Раскрыв парашют, он увидел, как Иван Земсков ходит над ним кругами, прикрывает на всякий случай.

Громов рукой ему махнул: уходи, мол, не жги горючее,— и только потом понял, что Иван беспокоится не зря: опускаться пришлось в море.

Много позже он узнал, что в такой воде человек выдерживает минут двадцать, ну полчаса от силы. А его вытянули моряки-торпедники через час с лишним. Едва Громов оказался на палубе, поднесли ему кружку со спиртом. Алексей Степанович не мог и рукой шевельнуть, закоченел. Потом всю дорогу, пока шли к причалу, Громова растирали шерстяным одеялом и передали медикам уже ожившим.

А когда вернулся в полк, Иван Земсков предложил отметить «морское крещение» друга. Летчики собрались в их блиндаже, выбитом у подножия сопки, на пустом снарядном ящике соорудили вполне праздничный стол.

Громов и Земсков учились вместе, вместе и прибыли в Заполярье. В школе они были в разных группах, здоровались, и только. А по дороге в часть сошлись и поселились вместе и летали тоже — Громов был у Земскова ведомым. Да и не только в воздухе. Так уж получилось, что и на земле Иван вел Алексея за собой. Может, от отца-учителя унаследовал он стремление опекать ближнего, а может, просто был двумя годами старше. В том возрасте это много значит.

Как водится, выпили за победу, потом за ребят, которым уже не доведется ее увидеть.

— Сейчас бы цветов, девушек, музыки! — воскликнул Симкин.— Чтоб люстры горели и пол был паркетным.

— Ишь ты, чего ему надо,— проворчал Валя Архипов,— а у нас в деревне и слов таких не знают: паркет, люстры. А сарай с земляным полом не хочешь? У нас в Лопухах клуб в таком сарае.

— Ладно, ладно, парни,— остановил их Сергей Корольков.

— Вот фрицев разобьем, тогда и на нашей улице будет праздник,— сказал Андрей Басов.

— Нет! — Иван Земсков отставил кружку, она скользнула к краю снарядного ящика и едва не упала, Громов подхватил ее.— Нет! Я не согласен с тобой, Андрей. Разбить фашистов — это еще не все, настоящего праздника от этого не будет. Мы воюем не только ради того, чтоб покончить с Гитлером, хотя это и самая наша зримая цель. Но этого мало, понимаешь. В этой битве мы сражаемся и за то, чтоб свой собственный мир сделать другим, более возвышенным, чистым и благородным.

— Это ты верно говоришь, Ваня. Но пока одна наша забота — бить фашистскую нечисть. И нет пока у нас главнее заботы!

— Давайте споем, парни! — предложил Андрей Басов.

...Полк морской авиации получил тогда приказ вылетать для бомбардировки немецкого каравана, когда часть транспортов под усиленным конвоем втянулась в Варангер-фьорд. Остальные

корабли были неподалеку от фьорда, в зоне обстрела вражеских береговых батарей, которые могли бы поддержать огнем конвойные суда.

Это усложняло действия штурмовиков. В первый же заход подбили самолет Симкина, и он потянул в сторону Рыбачьего, чтоб выброситься там на парашюте.

Громов работал в паре с Земсковым. Уже горели два транспортера и танкер, когда Алексей Степанович увидел в узком заливе, совсем неприметном с воздуха, прикрытый сопкой большой транспорт.

— Ваня! — крикнул он.— Посмотри вправо! Видишь?

— Вижу, Леша! Иди за мной, только приотстань!

Земсков отвалил вправо и вышел на боевой курс. Теперь было видно, что к транспорту жмутся три катера из конвоя.

— Держись в стороне! — крикнул Земсков.— Следи за воздухом! Попробую один.

Ил-2 слегка наклонил корпус и ринулся на неподвижный транспорт. Навстречу ему потянулись трассы пулеметных очередей, словно клочья ваты, возникли на его пути разрывы зенитных снарядов. Транспорт дал ход и двинулся вперед, потом положил руль вправо и стал поперек залива.

«Две машины у него,— подумал Громов,— лихо развернулся».

Штурмовик пронесся над пароходом, и его бомбы упали там, где только что был нос транспорта.

Земсков возвращался и снова заходил на боевой курс.

«А ведь он пустой,— подумал вдруг Громов,— куда он лезет без боекомплекта».

— Ваня! — крикнул он.— Прикрывай, теперь я...

— Уйди,— донесся далекий голос Земскова,— уйди, Лешка! Колю убили, стрелка. Покажу им! Сволочи!

— Ты ранен, Ваня! Выходи, выходи из боя!

Земсков не отвечал. Он снова ринулся на транспорт, и снова навстречу летела смерть. В шлемофоне Громова послышались хриплые звуки, неясные слова, он снова позвал Земскова, но тот не отвечал. Из левой плоскости его Ила вырвался и потянулся шлейфом коричневый дым, машина продолжала мчаться на маневрирующий транспорт. Громов выходил на боевой курс и готовился пойти вслед за другом, ждал, что вот-вот отвернет Земсков в сторону и рухнет в воду, но штурмовик словно завороженный летел и летел, дым стлался за ним, и вдруг в охрипевшем шлемофоне Громова зазвенел голос Ивана:

— Мы — русские! Мы — русские! Мы...

Ил-2 подвернул к ускользавшему транспорту и ударил его своим телом в среднюю надстройку.

....Молоденький лейтенант не торопясь поднялся за стеклянной перегородкой и открыл окошко.

— По какому вопросу, гражданин?

— Видите ли,— начал Громов,— нам сказали... Подполковник Симкин... Я служил...

Скуратов выступил вперед.

— В редакции газеты нам сказали, что в вашей части служит подполковник Симкин. Он однополчанин этого товарища. В годы войны они вместе воевали здесь. Попрошу связаться с подполковником и спросить, не может ли он встретиться с нами.

Дежурный узнал у Громова его фамилию и повернулся к телефону. Часовой у входа с любопытством смотрел на двух штатских.

Скуратов шагнул к перегородке.

— Товарищ подполковник,— услышали они,— говорит дежурный по части лейтенант Богданов! Вас тут спрашивают. Фамилия? Громов его фамилия. Да какой-то запасник, товарищ подполковник! Слушаюсь! Так точно!

— Подполковник Симкин занят,— сказал лейтенант.— А всеми вопросами истории части ведает майор Блинов. Товарищ подполковник советует обратиться к нему.

Алексей Степанович медленно повернулся и, сгорбившись, пошел к двери.

— Куда же вы, гражданин! — крикнул дежурный.— Я вас Блинову сейчас...

— Эх ты, Блинов,— тихо сказал Скуратов оторопевшему лейтенанту и бросился за Громовым следом.

«Волга» стояла у подъезда, но Алексей Степанович повернул налево, и Скуратов подумал, что пусть побудет один, он подождет его в машине.

А Громов миновал здание штаба и шел по разметенной от снега аллее, шел, не поднимая глаз, а когда поднял их, то увидел, что на него смотрит замкомэска Валентин Архипов.

— Здравствуй, Валя,— прошептал Громов,— далеко ты от своих Лопухов забрался. Клуб-то, поди, построили там, только сплясать тебе уже не придется.

Он увидел Серегу Королькова, Петра Бирюкова и Куприкова Колю. Они так и стояли один за другим в Аллее Героев, ребята из того боя.

Он потерял четвертого стрелка в тот налет на Киркенесский порт. Громов вышел из атаки, круто метнулся над Варангер-фьордом, осматриваясь, ища товарищей. Он увидел, что вторая эскадрилья заходит снова на Киркенес, и тут на него сели два «мессера».

Громов с великим трудом вывернул от них у самой воды. Его коронным номером было прижиматься к земле или воде, когда чувствовал себя слабее — не всякий летчик рискнет за

тобою гнаться. Но пулеметная очередь догнала машину, уложив стрелка наповал.

Они отбомбились, потеряв две машины — замкомэска Вали Архипова и новенького летчика, лейтенанта с Балтики, его фамилию Алексей Степанович не запомнил. Обе эскадрильи возвращались на базу. Громов шел предпоследним. И вдруг увидел, как идущий слева Ил-2 Коли Куприкова вильнул вниз и целая на вид машина, с работающим двигателем нырнула в залив.

Командир эскадрильи успел только крикнуть: «Коля?!» А тут еще головной самолет Бирюкова ударился в сопки. Его стрелок успел вывалиться за борт, но парашют не раскрылся, и стрелка нашли в сопках утром другого дня.

У самого аэродрома пошел вниз третий Ил, Сереги Королькова.

Это было страшно: видеть, как в спокойном небе, в небе без зенитных разрывов и снующих истребителей врага вдруг один за другим падают самолеты друзей.

Все были подавлены случившимся. Из Мурманска прилетела военно-медицинская экспертная комиссия. Врач, полковник, доложил обстоятельства дела, все оказалось совершенно ясным. Смертельно раненные летчики держались в бою на нечеловеческом напряжении и вывели машины из атаки, поставив их в строй.

— Ну вот мы и встретились,— хрипло сказал Громов.

Алексей Степанович двинулся дальше, не в силах преодолеть медлительность шагов и нетерпеливо вглядываясь в глубину аллеи. И вот он остановился перед Земсковым.

— Здравствуй, Иван,— прошептал он, едва шевеля губами,— прости, что так долго я шел к тебе.

Вечером Громов и Скуратов сидели в ресторане «Дары моря». Играл оркестр. Ресторан был полон. Рыбаки с нашивками на плечах, немного молодых ребят в гражданской одежде, морские и армейские офицеры и совсем мало женщин.

— По просьбе наших гостей, моряков БМРТ-244 [1], вернувшихся с Лабрадора,— задорно выкрикивал в микрофон ударник,— исполняется...

— Сколько раз тебя сбивали, Алексей? — спросил Скуратов.

— Шесть,— сказал Громов.— Мне везло.

— А этот твой Симкин...

— Брось! — резко сказал Громов.— Ну чего ты? Он просто не понял, что это я, фамилию забыл. И его сбивали, Симкина!

---

[1] БМРТ — большой морозильный рыболовный траулер.

— Все равно,— ответил Скуратов,— не могу этого понять.

— Посмотри вокруг,— кивнул Алексей Степанович,— столько офицеров, и ни у кого почти, даже у майоров, нет боевых наград, одни юбилейные медали. Молодеет армия.

«Запасник какой-то»,— вспомнил он и вдруг сказал:

— Завтра уеду.

Утром они позавтракали в буфете, сели в «Волгу». Промелькнули причалы рыбачьего порта, заставленные кораблями, осталась позади судоверфь, потом Кола, город и мост через Колу-реку.

Пошел малообжитый левый берег залива. Еще немного, и машина повернула к сопкам.

Алексей Степанович пытался осмыслить все увиденное в Мурманске и в Североморске и как-то упорядочить в душе наплыв впечатлений, уравновеситься. Но сознание настойчиво переносило его на двадцать пять лет назад, в те самые дни, из-за которых он и приехал сюда. И он не мог выйти из тех дней.

В сегодня его вернули мысли о командировке — по ней он должен отчитаться в Москве, в своем институте. Он вспомнил Ленку, дочь.

— Дочке ничего не купил,— сказал он, повернувшись к Скуратову.

Скуратов промолчал. Он смотрел в сторону сопок. Там среди снега чернели валуны и призрачно маячили карликовые березки.

— Останови машину, Валентин,— попросил Скуратов.

Шофер сбросил газ и мягко притормозил у обочины.

— Ты хотел подарок для дочки? Будет ей подарок. Во-он березки, видишь? Сейчас мы сорвем ветку. И привези ты ее в Москву. Ветку березы с сопок, над которыми летал отец. Годится?

Скуратов решительно шагнул с дороги и провалился по пояс в снег.

— Постой! Вернись! — крикнул Громов, торопливо выскакивая из машины.— Это я... сам должен сделать! Понимаешь?

С трудом вытаскивая ноги и размахивая руками, Громов двинулся к березкам. За ним тянулась неровная снежная борозда. Наклонив тело вперед, Громов упрямо боролся с сугробом. Наконец он стоял у деревца с тонкими прутиками, протянул руку к причудливо изогнутой ветке. Березка не поддавалась. Понадобилось усилие, чтоб справиться с нею. Когда Громов все-таки одолел дерево, он вспомнил вдруг, как вот такие же березки спасли его, когда он карабкался по склонам сопок и боялся, что ветки не выдержат, обломятся.

Его сбили тогда за сто двадцать километров от базы, он снова потерял стрелка и двинулся через горы с плиткой шоколада в кармане и пистолетом «ТТ».

Волки увязались за Громовым на второй день. Почти не целясь, он стрелял и стрелял. Уложил одного зверя. Спохватился, когда в обойме осталось три патрона.

Громов больше не стрелял. Спустив предохранитель, он сунул пистолет за пазуху изодранного комбинезона и думал лишь о том, чтобы не упасть.

Так он и шел, сопровождаемый волчьим конвоем, храня последнюю пулю в стволе.

И теперь, когда Алексей Степанович возвращался к дороге, снова с поразительной ясностью увидел себя, молодого парня, с рыжим пушком на обмороженном подбородке, нескладного в темном своем меховом комбинезоне.

...Ветка кольской березы, привезенная Громовым в Москву, выбросила листочки на третий день.

ВИКТОР СТАРИКОВ

УЧИТЕЛЬ ИЗ ЗАРЕЧЬЯ

Рассказ



УЧИТЕЛЬ ИЗ ЗАРЕЧЬЯ

Уже три дня я жил в партизанском отряде, которым командовал Сергей Николаевич Стрижов. Мне много рассказывали о нем самые разные люди. Так я узнал, что до войны Стрижов учительствовал в одном из сел этого глухого угла Псковщины. Завел при школе опытную биологическую станцию, выпускал своеобразный журнал, писанный от руки, создал сельскую читальню. Комбриг Васильев, командовавший всеми вооруженными силами Партизанского края, считал Стрижова лучшим командиром и самые сложные, рискованные операции поручал ему.

Мне не сразу удалось попасть в этот отряд: мешала весенняя распутица. Но добрался... Стрижов оказался не из разговорчивых, да и обстановка в те дни сложилась такая, что было ему не до бесед с любопытным московским журналистом: всю последнюю неделю партизаны отражали наступление немецких карателей, решивших очистить наконец глубокие тылы своих армий, обезопасить коммуникации. Шли ночные бои, и Стрижов совсем не спал. За эти три дня — хотя мы были все время вместе и я наравне с партизанами ходил в бои — видел я Стрижова только в действии и знал о нем не намного больше, чем в первую минуту знакомства.

Я, например, знал, что вот уже десять месяцев, как он воюет в тылу врага, получил высокую награду — орден Ленина, голова его немцами оценена в двадцать тысяч рублей. «Золотая голова»,— как-то шутливо бросил он о себе. Стрижов был еще не стар, вероятно, не больше сорока лет, и красив.

Так думал я, глядя на него в избе, когда он сидел над картой, задумавшись, забыв о трубке, отложенной в сторону.

Накануне отряд провел ночной налет на железнодорожную станцию, занятую немецкими карателями, и под утро, на рассвете, усталые бойцы, растянувшись в цепочку, возвращались в деревню, где они квартировали. Я мог засвидетельствовать, что ночной бой удался: партизаны уничтожили сотню немецких солдат и офицеров, взорвали большой склад боеприпасов, захватили много различных трофеев. Особенно обрадовал их продовольственный склад, где были сыры, мясные и рыбные консервы, шоколад, вина. Словом, операция прошла успешно.

Но Сергей Николаевич, ехавший верхом впереди отряда, мрачно молчал, да и бойцы находились в подавленном настроении. Не слышалось обычных после удачного боя шуток, рассказов о подробностях минувшей схватки,— не было того веселья, в котором происходит душевная разрядка людей, только что испытавших высокое нервное и физическое напряжение.

Это общее подавленное настроение было связано с гибелью молодого парнишки Василька — любимца отряда. Труп Василь-

ка, накрытый плащ-палаткой, везли на подводе в голове колонны.

Когда на горе показалась деревня, где расположился штаб, Стрижов подозвал паренька, шагавшего у подводы с мертвым, и сказал:

— Ступай, подготовь мать!..

Нельзя близко подойти к раскаленному добела слитку металла, пышущему иссушающим жаром. Вот таким внутренне раскаленным казался мне в то утро внешне мягкий Сергей Николаевич. Сурово сжав губы, сильной рукой сдерживая жеребца, порывавшегося всю дорогу перейти на рысь, Стрижов ехал молча, и никто не решался заговорить с ним.

В избе, как только разделись, он сел писать донесение о ночном бое комбригу Васильеву. Вошел начальник штаба Лавриков, посмотрел на командира и нерешительно спросил:

— С арестованными что делать?

— Чаем их сегодня напоили? — раздраженно бросил Стрижов, не поднимая головы от листа бумаги.

— Я серьезно говорю,— обиделся Лавриков.— Пятые сутки держим. Приговор вынесен...

— А мне шутить хочется... Что делать? Не знаешь? Приговорили? Ну и надо было расстрелять!

Лавриков вышел, а Стрижов, кончив писать донесение, запечатал его и, вызвав бойца, послал с пакетом в штаб бригады. Потом Стрижов постоял в раздумье, и мне показалось, что ему хочется что-то сказать, но он только досадливо качнул головой и вышел.

Я видел, как по улице провели двух человек: пожилого бородача-старосту, захваченного партизанской разведкой в хмельном пиру у вдовухи, и молодого рыжего парня, успевшего трижды побывать в плену у немцев и признавшегося на допросе в том, что стал их агентом. Они шли в распоясанных рубахах, босые, с одинаково серыми лицами, трудно и неуверенно переставляя ноги. Минуты через две я услышал короткий, приглушенный расстоянием, залп. Приказ Стрижова был выполнен.

Несколько раз в течение дня Стрижов ненадолго заходил в избу, рылся в каких-то бумагах, что-то писал и уходил в соседний дом, где помещался радист, державший связь со штабом фронта. Он все еще хмурился, утренний испепеляющий жар все еще исходил от него. Но к вечеру он стал заметно остывать, и я ловил на себе его внимательный взгляд. Видимо, ему и в самом деле хотелось что-то сказать мне.

— Пойдемте со мной,— наконец проговорил он.— Недалеко...

Я молча поднялся и пошел за ним на улицу. Широко и быстро шагая, так, что я чуть отставал, Стрижов, не оборачиваясь в мою сторону, негромко говорил, словно сам с собою:

— Мать Василька жаль!.. Два месяца назад — муж, а теперь и он... К смерти привык, всякую падаль сам могу расстре-

лять, а слезы видеть тяжело. А когда такие погибают... Всех дороже мне был Василек...

Мы дошли до конца деревни. У третьей с краю избы стояли молодые партизаны и девушки в темных платках. Они расступились, пропуская нас.

— Сколько раз говорил,— буркнул Стрижов,— не скопляться на улицах. Опять самолеты гудят. Ведь засечь могут...

В избе, на столе, выдвинутом на середину, в гробу лежал Василек. Голова подростка, казалось, покоилась на цветах — так много их было. Белое, без кровинки, лицо его не было обезображено смертью. Думалось, что он только безмерно устал, но стоит ему полежать, отдохнуть, и он встанет и опять пойдет, куда прикажут.

Возле него, на стуле, сидела изможденная женщина. Она подняла голову, когда вошел Стрижов. В этом измученном взгляде ничего не было, словно жизнь покинула ее, и лишь сами собой, независимо от ее воли и желания, шевелятся руки, поднимается и опускается голова. Женщина взглянула на Сергея Николаевича, стоявшего у порога, и, когда он сделал шаг вперед, гримаса страдания и боли появилась на ее лице, и медленно, опираясь рукой о стол, она поднялась.

Стрижов подошел к гробу и встал рядом с женщиной. Он долго смотрел на Василька, потом протянул руку, провел по его волосам и, нагнувшись, поцеловал его в лоб. Женщина вдруг словно надломилась: с глазами, полными скорбного блеска, она опустилась рядом на стул, и плечи ее мелко задрожали.

— Ну-ну, Анастасия Мироновна,— взволнованно сказал Стрижов.— Такое наше время... Берег его, сама знаешь, как берег, а вот убили!

Он утешал неумело, по-мужски, что-то шептал ей и все гладил ее вздрагивающие плечи.

Вечером мы сидели с ним одни в избе за столом: я приводил в порядок свои торопливые записи, а он изучал карту района. Я собирался утром ехать в другой партизанский отряд.

Стрижов отложил карту и вдруг спросил:

— У вас свободный часок для разговора найдется?

— Пожалуйста! Очень рад.

— Думали ли вы, почему с такой ненавистью мы ведем борьбу с немцами? Скоро год, как мы находимся в глубоком тылу врага, не знаем, когда вернется сюда Красная Армия, и не только не устали от этой жизни, а готовы драться еще и еще. Я говорю это не только о себе. Так вам скажет любой партизан. Ни один из них не сложит оружия до конца войны. И это потому, что каждый партизан понял, знает, что нельзя жить рядом с фашистами, нельзя позволять им оставаться на нашей земле. Как вы думаете, сколько мне лет?..— И, не дожидаясь ответа, сказал: — Двадцать четыре! Я ведь только четыре года

работал учителем в селе Заречье, что рядом с этой деревней. Ну разве мог я, не умевший вынуть затвора из винтовки, думать, что буду командовать партизанами? И, как видите, командую, уничтожаю фашистов в меру сил своих и способностей. В партизаны меня привели мои же мальчики...

В нашем селе немцы появились осенью. Они расположились в школе и приступили, как они выражались, к «организации» продовольствия для немецкой армии. В первый же вечер меня вызвали в школу. Принял меня лейтенант, командир роты, он же комендант нашего уезда. Это был человек моего возраста, очень аккуратный и подтянутый, видимо, не забывавший утром бриться и уделять несколько минут своим очень красивым ногтям. Вежливый до приторности, он усадил меня в кресло, предложил сигару. Он производил впечатление туриста, впервые попавшего в неизвестную страну. Я заметил, что на столе у него лежит раскрытая тетрадь дневника и во множестве рассыпаны фотографии наших городов и репродукции картин русских художников. На другом столе стояло несколько лукошек из бересты, какие делают в наших краях, и вышивки наших женщин — великих рукодельниц. Все это имело для него, очевидно, немалый этнографический интерес. Говорил он со мной спокойно, вежливо, обращаясь на «вы», не показывая своей власти. Он явно хотел производить впечатление человека гуманного, благожелательно настроенного к русским. Лейтенант спросил, говорю ли я по-немецки, и я, немного владеющий этим языком, сделал вид, что не понимаю его. Он сделал скорбное лицо, достал немецко-русский словарь и начал разговор на очень странном языке.

— Имет ви штрах? — спросил он.

Я не ответил, хотя отлично понял, что именно он спрашивает.

Он долго подбирал по словарю слово за словом.

— Где берешь я переводчик?

Я пожал плечами.

На этом и закончился первый наш разговор.

Несколько раз я встречал этого «туриста» на улице, когда он прогуливался по селу в сопровождении солдата, присматриваясь ко всему любопытствующими глазами. Очень любознательный немец попал к нам. Он не брезговал заходить даже на скотные дворы, не боялся пыли на мельнице-ветрянке — всюду совал нос.

А подчиненные ему солдаты занимались тем делом, ради которого они и пришли в Заречье,— «организацией» продуктов для немецкой армии. Со всех окрестных сел в наше Заречье они свозили зерно и сено, приводили крупный и мелкий скот.

Через несколько дней после беседы с офицером я встретил возле школы Марию Юрьевну — учительницу немецкого языка, носившую эстонскую фамилию Линден. Я когда-то учился у

нее и помнил ее еще совсем молодой женщиной. Теперь она, естественно, поседела, ходила, опираясь на трость, и меня удивило ее неожиданное появление в Заречье — ведь школа, где она работала, была в тридцати километрах отсюда. Я обрадовался ей, своей старой учительнице и товарищу по работе.

— Мария Юрьевна, какими судьбами?

Она смутилась, сказала что-то очень невразумительное о каких-то знакомых.

Вечером я увидел ее в обществе немецкого офицера. Теперь он имел переводчицу. Вот зачем она приехала сюда! При следующей встрече я уже не кинулся к ней, не поздоровался, и она сделала вид, что не заметила меня...

Однажды вечером ко мне пришел мой ученик Василий Трошин. Потом в отряде его стали звать Васильком. Он попросил что-нибудь почитать, но, получив книгу, все еще сидел, томясь желанием что-то сказать мне. Взглянет быстро-быстро на меня серыми глазами и опустит их. Ерзал на стуле, болтал о всяких пустяках, и я терпеливо ждал, что мне скажет мой Василек. Потом вдруг он набрался храбрости и спросил меня напрямик:

— Сергей Николаевич, как вы думаете бороться с немцами?

Я ничего не мог ответить. Бороться? Где уж мне...

Он взъерошился, как снегирь, покраснел.

— Фашистов надо бить! Везде, везде бить, как Сталин говорил, чтобы им не было житья на нашей земле!

— Нельзя сейчас,— убежденно сказал я.— Разве не видишь, сколько их у нас в селе.

— Нас больше! — упрямо возразил он.— Они в нашей стране. Нас много, а их мало. И если каждый убьет хоть одного...

Вот ведь какой!

Василек что-то затевал, я по глазам это видел. Неспроста пришел он ко мне. Но я тогда еще настолько был подавлен событиями, что не знал, что делать. Не представлял, как я, сельский учитель, не успевший уйти в армию, не успевший эвакуироваться, могу бороться с немцами. Василек, прощаясь, не удержался и многозначительно шепнул:

— Скоро вы кое-что услышите!..

Спустя примерно неделю ночью загорелись колхозные амбары, в которых немцы держали свезенные зерно и сено. Огонь вспыхнул сразу в нескольких местах, и к утру от больших амбаров осталась груда тлеющих головешек. Пахло печеным хлебом. Еще ночью, когда я выбежал на крыльцо и увидел высокие языки пламени, освещавшие все Заречье, я решил, что это — дело рук моих мальчишек. «Плохой у них учитель,— подумал я.— Они учат его, что надо делать».

Утром я увидел немецкого «туриста». Он шел серединой улицы, но уже два автоматчика сопровождали его, надвинув низко каски. Увидев меня, он чуть замедлил шаг и что-то сказал своим солдатам, те тоже посмотрели на меня. «Туриста»

обидели в русской деревне... У меня встреча с ним вызвала чувство злорадства: кто бы ни устроил пожар — все равно это очень хорошо. Пусть видят немцы, что пришли они не в покорную страну рабов-славян, а в Россию, землю народа-героя.

Полной убежденности в том, что поджог совершили мальчишки, у меня, естественно, не было. Подозревал я, что партийные организации могли создать диверсионные группы в тылу у немцев. Но все указывало на то, что, вероятней всего, амбары подожгли ребята.

Двадцать мальчиков — все мои ученики — были арестованы. Не знаю, кто мог указать на них немецкому офицеру. Может быть, такой же подлец, какого мы сегодня расстреляли, а может, и сама Мария Юрьевна. Меня опять вызвали в школу, и офицер через Марию Юрьевну спросил, что мне известно о пожаре. Я не лгал, когда сказал, что ничего не знаю.

— Сергей Николаевич,— сказала Мария Юрьевна.— Немцы хотят, чтобы здесь с первых дней была установлена нормальная жизнь. Бандитизма, беспорядка они не потерпят. Они должны знать имя виновника пожара. Им пока известно, что к нему причастны ваши школьники. Но кто? Если вы любите их, вы должны и даже обязаны им помочь. Поговорите с ними, убедите, чтобы они сознались. Немцы примут раскаяние, не озлобляйте их!

Открылась дверь, и в комнату ввели Васю Трапезникова. Он всегда выделялся из среды товарищей романтичностью и мечтательностью. Теперь, вероятно, вспоминая образы своих любимых героев, он вошел в комнату с гордо поднятой головой, улыбаясь, уже готовый встретить с этой улыбкой смерть. На меня он посмотрел спокойно, как, впрочем, и на всех остальных.

— Спросите его,— предложила Мария Юрьевна.

— Я знаю своих учеников и убежден, что они тут ни при чем. Пожар мог быть случайным. Разве так редки пожары в наших деревнях? Кто-то мог закурить, бросить спичку или окурок...

Вася Трапезников слушал меня.

— А вы все-таки поговорите с ним,— настаивала Мария Юрьевна.

Я подчинился. Задал несколько вопросов. Конечно, он ничего не ответил. Офицер не вмешивался в наш разговор и только внимательно, прищурившись, присматривался к нам. Казалось, что он уже принял какое-то свое решение.

Вторым допрашивали маленького Сережу Снегирева, самого тихого школьника в старших классах. Он испуганно смотрел на нас и готов был вот-вот расплакаться. Какой уж это поджигатель!

— Вы их не допрашиваете,— укорила меня Мария Юрьевна,— а уговариваете и успокаиваете. Так нельзя!

Она сказала офицеру, который ни во что не вмешивался,

что мальчики не дают нужных ответов. Эту фразу я разобрал. Тот резко махнул рукой, и Сережу вывели. Офицер вышел из-за стола и начал говорить, отчеканивая каждое слово. Линден бесстрастно переводила.

— Под арестом сидят двадцать мальчиков,— говорила она.— Сейчас им объявят, что если они не скажут имени преступника, то в девять часов утра Сережа Снегирев будет расстрелян на площади. Имя того, кто будет расстрелян послезавтра, лейтенант объявит завтра вечером.

Стрижов встал, прошелся по избе, закурил трубку и остановился у печки. Мне не было видно его лицо.

— Признаться, тогда я этому не поверил,— произнес он дрогнувшим голосом.— А в девять часов утра я услышал винтовочный залп.

Он подошел к столу и, глядя мне в лицо, продолжал:

— Они расстреляли Сережу не на площади, а на пепелище. А вечером я опять был вызван в школу и мне сказали, что утром будет расстрелян второй — Геня Соколов.

Я пришел домой, сел на крыльцо и просидел всю ночь, охваченный ужасом и отчаянием, выдумывая сотни фантастических планов спасения ребят. Я был уверен, что в их глазах я сейчас выгляжу предателем. В двухстах метрах от меня, в сарае, сидели девятнадцать моих учеников и среди них Геня Соколов, которому оставались считанные часы жизни. Завтра в это же время я смогу опять сидеть на этом самом месте, а его уже не будет, как уже нет Сережи Снегирева. Не будет! И этого нельзя предотвратить. Что там один мальчик Достоевского! Тут — девятнадцать, и одного уже нет...

От меня Геня Соколов узнал в классе, как происходит смена дня и ночи. Сейчас, как и я, он видит слабую полоску зари на востоке, тускнеющие звезды. Для меня это означает приход нового, пусть тяжелого, но нового дня, а для него — неумолимое приближение смерти. На моей совести уже лежала смерть Сережи Снегирева, теперь ляжет еще одна — Гени Соколова. Учитель ничего не сделал, чтобы спасти своих учеников...

Он ничего не сделал и в это утро.

В девять часов Геня Соколов был расстрелян у пепелища.

Вечером меня опять вызвали к офицеру и сказали, что утром будет расстрелян третий — Вася Трошин. Офицер, пристально наблюдавший за мной, спросил через Марию Юрьевну, не хочу ли я поговорить со своими учениками еще раз. Я отказался. Тогда переводчица очень спокойно сказала мне, что могут расстрелять и всех двадцать мальчиков одного за другим. И я дал себе клятву: если совершу убийство, то Мария Юрьевна будет первой, кто умрет от моей руки...

Как и накануне, я сидел на крыльце и считал, сколько еще часов оставалось жить Василию Трошину. Это было невыносимо. Я встал и пошел в дом Трошиных. Там никто не спал, вся

семья Трошиных сидела в темной избе. Меня встретили холодным молчанием. Все видели, что уже несколько раз я ходил в школу к немцам. Я позвал отца Трошина на улицу.

— Завтра в девять часов утра немцы расстреляют вашего сына,— сказал я.

— Знаю,— грубо ответил он.

— Надо что-то сделать. Так они расстреляют всех ребятишек.

— Сергей Николаевич, отбивать их надо, отбивать! — жарко заговорил он.— Я уже все обдумал. У сарая один солдат ходит. Его...— он резко махнул рукой,— а потом сбить замок и всех выпустить.

— Ну а как же вы, другие? Думаете, немцы простят это селу? Никогда...

— Нам с ними в мире не жить. Рано или поздно, всем биться придется. А если молчать — они всех, как кур, порежут. Ведь это волки, истинное слово, волки.

Мы зашли еще в один дом, и там тоже никто не спал, и там тоже сказали, что надо выручать ребятишек. Втроем мы пошли к сараю, где сидели школьники. Немца мы прикончили без шума, сбили замок и открыли ворота.

Но что делать дальше? Отец Васи Трошина посоветовал всем уходить в лес. А что там дальше будет — увидим...

И мы, восемнадцать школьников и я, ушли в лес. Я опасался, что немцы в ответ на освобождение ребят расстреляют кого-нибудь в селе. Но они решили, что все это сделал я единолично, и через два дня напечатали объявление о награде в тысячу рублей тому, кто доставит меня живым или мертвым в ближайшую немецкую комендатуру.

Подожгли сарай, как я и подозревал, мои ученики. Мне сказал об этом в лесу Василек. Он стоял передо мной, глаза были все те же лучисто-сияющие, но лицо как-то огрубело за эти несколько дней.

— Зачем вы это сделали? — спросил я.

— Они думают, что победили нас. А мы показали, что они не победили.

Это говорил не мальчик, а мужчина. И я понял, что если хочу быть в их глазах достойным человеком, то обязан вести их тем путем, который они выбрали сами для себя.

— Что же мы будем делать теперь? — спросил я.

— Бороться!..

И мы начали эту борьбу — мальчишеский отряд. Ребята рассыпались по округе в поисках оружия. Скоро нам удалось кое-что достать, и немцы стали побаиваться в одиночку ходить в деревню. В них стреляли из засад, поджигали дома, где они останавливались на ночевки.

Недолго мы были одни. Началась народная война. Мой маленький отряд, успевший совершить несколько налетов, распал-

ся, и ребята разошлись по другим отрядам. Сам я принял командование над группой в тридцать взрослых партизан.

Василек всегда был со мной. Он служил разведчиком, ходил в глубокие тылы врага, водил лесными дорогами армейские диверсионные группы. Удача сопутствовала ему. Я был его учителем в школе, а он научил меня тому, как человек должен себя вести в дни народных испытаний. За это я заплатил большой ценой. Я не спас от смерти двух своих учеников и до сегодняшнего дня не могу простить этого себе. Даже в тот день, когда мне вручали орден, я вспоминал Сережу Снегирева и Геню Соколова.

Как-то Василек сказал мне, что он поклялся себе доставить в отряд переводчицу Линден. Многих предала она немцам. Как плохо иногда мы знаем тех людей, с которыми живем рядом. Кто мог подумать, что она, такая интеллигентная, такая, казалось, порядочная, будет самым опасным и подлым человеком в наших местах! Мы давно вынесли ей приговор, но привести его в исполнение пока не имели возможности. Линден чувствовала опасность и вела себя осторожно, никуда не отлучалась из комендатуры. Васильку я поручил следить за ней, да вскоре забыл об этом. Было много всяких других неотложных забот.

В декабре, вернувшись из разведки, Василек пришел ко мне и сказал, что у Линден заболела сестра и сейчас Мария Юрьевна живет в селе Шилове. Я разрешил Васильку пойти туда, взяв с собой еще двух партизан. Они пошли на лыжах. Ночью разыгралась метель, и я очень беспокоился, как бы они не сбились с дороги. Трое партизан поехали им навстречу. Я не спал всю ночь.

Уже под утро услышал я голоса на улице и, выйдя из землянки, увидел в вихрях крутящегося снега лыжников. Они волочили сани, и на них лежал большой сверток, отдаленно напоминающий человека.

В землянке они развернули этот сверток. Линден плакала, ломала пальцы, и перстни посверкивали на них. За зиму у меня выросла большая борода, Мария Юрьевна меня сначала не узнала.

— Пощадите, пощадите,— молила она.— Обещаю, что я ничего дурного не сделаю вам. Мне недолго жить. Пощадите!

— Да, вам недолго жить,— сказал я, и она, услышав мой голос, поняла, что прощения ей не будет.

— Сергей Николаевич,— сказала она,— у вас была мать! Я в ее возрасте.

— У меня были ученики,— ответил я.— Вот ваш судья,— показал я на Василька.— На вашей совести много жизней. Сейчас вы должны сказать, кто еще на подозрении у немцев.

Она называла фамилии людей, уже приговоренных немцами как пособников партизан, а также имена людей, изменивших своему народу. Мы многое узнали от Линден.

А потом приговор был приведен в исполнение.

...За дверью послышались голоса, и Стрижов замолчал, прислушиваясь. В избу вошел Лавриков, протянул какую-то бумажку. Стрижов взглянул на нее и лишь спросил:

— Разведку выслали?

— Отправил.

— Объявляй тревогу!

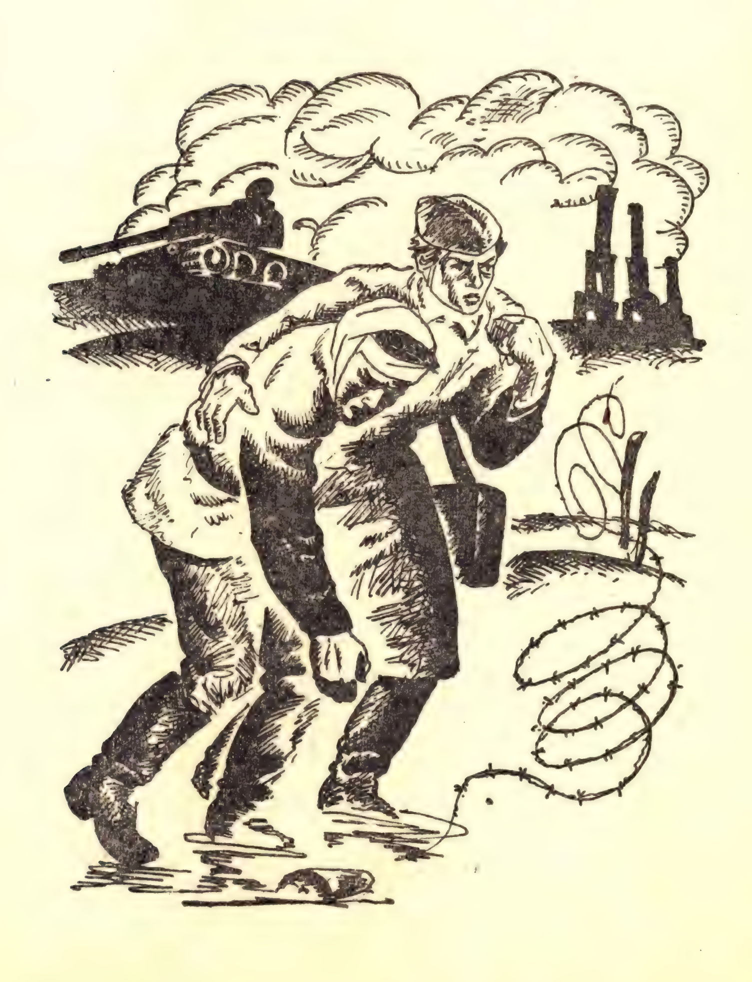
В двенадцати километрах от села, где мы стояли, появился еще один отряд немецких карателей. Предстоял ночной бой. Стрижов получил приказ — устроить на шоссе засаду и уничтожить эту немецкую группу.

Минут через пятнадцать мы уже выехали из села.

НАДЕЖДА МАЛЫГИНА

ВСТРЕЧА

Очерк (в сокращении)



Утром 18 января 1943 года свердловчане прочитали в газете «Уральский рабочий» короткое сообщение: коллективы танкостроителей решили сделать в первом квартале столько танков сверх плана, что их хватит на целый корпус.

Наверное, многие подумали тогда: а почему бы и в самом деле не создать такой корпус?

В Свердловском обкоме партии раздавались телефонные звонки. Туда приходили делегаты с заводов, приезжали из районов области.

— Мы обещаем для корпуса минометы сверх плана.

— А мы — боеприпасы.

— Мы — грузовики и мотоциклы.

— А мы дадим танки.

— Надо подсчитать возможности и создать такой корпус — Уральский танковый — без единой копейки государственных затрат.

— И сформировать его можно из добровольцев.

— Да. Пусть будет Уральский добровольческий!

Свердловчане подумали, подсчитали свои возможности, посоветовались с соседями — пермяками и челябинцами.

Вскоре бюро Свердловского, Пермского, Челябинского обкомов партии обратились в Государственный Комитет Обороны и Центральный Комитет партии с ходатайством о создании такого корпуса. К великой радости всех, идея эта была одобрена.

И вот на проходных заводов и фабрик в городах Урала появились объявления: «По инициативе трудящихся Урала создается Уральский добровольческий танковый корпус. Прием заявлений в партбюро».

В течение двух дней в комиссию по формированию корпуса поступило свыше 110 тысяч заявлений. Одновременно начался сбор денежных средств.

Оплата всего необходимого для корпуса — от танков и пушек до пуговиц на солдатских гимнастерках — производилась за счет этих, внесенных населением средств.

В фонд создания корпуса проводились сверхурочные работы, в него же шло все, что создавалось сверх плана: сталь для танков, вооружение, боеприпасы. Обувщики шили солдатские сапоги, швейники — обмундирование, палатки, спальные мешки, маскхалаты.

Так рождался он, 30-й Уральский добровольческий танковый корпус. Командиром его был назначен генерал Георгий Семенович Родин.

...В ходатайстве о формировании корпуса говорилось: «Мы берем на себя обязательство отобрать в корпус беззаветно преданных Родине людей Урала — коммунистов, комсомольцев, беспартийных большевиков».

Об одном таком беззаветно преданном человеке — этот очерк.

* *
*

Капитан Фирсов, худой, небритый, читает заявления: «Прошу снять с брони и отправить на передовую...», «Требую отправить на фронт...», «Пожалуйста, зачислите меня бойцом в Уральский добровольческий. Клянусь быть достойным...»

Просматривая заявления, он откладывает в сторону те, с авторами которых даже не стоит говорить: одни из них нужны здесь, в тылу, другие не имеют необходимой базы для получения в короткий срок специальности, третьим — мало лет, четвертым — много.

— Заявления, заявления,— жалуется Фирсов товарищу.— Сто десять тысяч заявлений! Сто десять тысяч требований и просьб! А отобрать надо несколько тысяч человек. Ну и задача! Вот, полюбуйся.

Он берет очередной тетрадный листок, читает вслух:

— «Хочу стать пулеметчицей. Анна...» Хм, смотри-ка ты — Анна!

— Да это, видимо, романтичная девчонка. Из тех, кому слава чапаевской Анки-пулеметчицы спать не дает,— замечает товарищ.

— Ну тут-то проще простого: женщин не берем, и конец!

Капитан Фирсов размашисто пишет наискось, через весь листок: «Отказать». С усмешкой качает головой:

— Ишь ты, Анка-пулеметчица!

А она все приходит. Каждый день. До работы и после. Она ничего не говорит. Зачем, когда все изложено в заявлении? Она просто появляется перед капитаном Фирсовым и смотрит ему в глаза. И тому становится не по себе от ее пристального, требовательного взгляда.

— Не ходите попусту! — сердится капитан.— Все равно не возьмем!

Тогда Анна выкладывает самые, по ее мнению, веские доводы о том, что на фронт она просится с первого дня войны.

— Просилась вместе с мужем — не взяли. Сколько же можно проситься? Так и война кончится. А теперь я заявление подала на собрании при всем честном народе. Как же вы мне откажете? Не можете вы теперь отказать.

Капитан Фирсов на собственном опыте знал, что такое война с гитлеровцами. В 1941—1942 годах на Северо-Западном фронте командовал он стрелковой ротой, затем батальоном. После третьего ранения был направлен на курсы «Выстрел». Но, узнав о создании Уральского добровольческого корпуса, подал рапорт: «Настоятельно прошу отчислить в корпус...»

Да, он уже знал, что такое война, и именно поэтому, обычно мягкий, деликатный, сейчас не выдержал, повысил голос:

— Уходите! И чтоб больше я вас не видел!

С жалобой на капитана пришла Анна в Октябрьский райком партии.

Муж Анны до ухода на фронт заведовал орготделом райкома. Но Анну знали здесь не только как жену работника аппарата. Комсомолка с двадцать шестого года, коммунист с тридцатого, многолетний вожак молодежи, а затем секретарь партийной организации прядильного цеха Первой Уральской суконной фабрики, слыла она, кроме того, отличным пропагандистом, в политических вопросах разбиралась свободно. И хотя грамоты у нее, как Аня сама говаривала, кот наплакал, была она одной из тех, кто везет самый тяжелый воз, не бахвалясь этим и не жалуясь на это. По заданию партии вытягивала из прорыва самые, казалось бы, неожиданные для нее участки работы. В 1933-м была в числе тех, кого партия и рабочий класс направили в помощь деревне для укрепления колхозов. А когда колхоз, в котором она работала, окреп, встал на ноги, суконная фабрика затребовала Аню обратно: нужно было срочно организовать кролиководческую ферму при фабричном орсе. Аня так организовала это дело, что, когда райком партии слушал вопрос о развале кролиководства на Камышловском сельхозкомбинате, бюро райкома вместо нерадивого работника решило послать туда Аню. Хозяйство вышло из прорыва, а Аня нашла там свою любовь — вышла замуж за технорука Александра Секачева.

В скором времени Александра избрали секретарем Октябрьского райкома комсомола Свердловска, и они вернулись в город.

Однажды, идя по городу, встретила Аня бывшего директора суконной фабрики. В те дни, когда Аня штудировала книги по кролиководству и увязывала теорию с практикой, он, тоже коммунист, разбирался с положением дел на Свердловском мясокомбинате, где был секретарем парторганизации.

— Ты в Свердловске? — удивился и обрадовался он. — Вот хорошо-то! Нам позарез нужен толковый, дельный и честный человек, который за несколько дней смог бы организовать при комбинате детские учреждения. Лучше твоей кандидатуры не найти! Я как раз иду в райком партии, там все обговорю. А ты завтра же приходи и берись за дело! Задыхаемся, понимаешь, без этих самых детских учреждений.

Так стала Аня заведовать ею же созданными детскими яслями. И куда бы потом ни пытались направить ее, отказывалась категорически: очень уж понравилось ей это новое дело — лелеять, выращивать бережно и строго нежные человеческие ростки, лепить их души и характеры.

А теперь вот — в который раз! — пришла она в райком.

— Раньше не отпускали на фронт — ладно. Но уж в Уральский-то добровольческий корпус должны вы меня зачислить!

Секретарь райкома пытается отговорить ее:

— Ты воспитываешь детей, Аннушка. Это не менее важно, чем фронт.

Она вроде бы слушает не перебивая.

Считая, что убедил ее, секретарь райкома протягивает руку:

— Договорились? Ну вот и хорошо!

Она понимает, что разговор окончен. Пожимая его руку, произносит упрямо:

— Не зачислите в корпус как положено — убегу!

— Война, Аннушка, дело нешуточное,— замечает секретарь.— Может покалечить, а может...

Он умолкает. Наверное, ему неловко объяснять, что на войне убивают. Но Аня сама это знает. Она вытаскивает из сумки и кладет на стол две похоронки: ее муж и брат-разведчик погибли на разных фронтах в одну неделю. Еще в сорок первом. Брат был замучен фашистами. А муж с группой бойцов до последнего патрона прикрывал отход своей части.

Прочитав похоронки, секретарь райкома отходит к окну, закуривает.

— Чего ж ты не говорила... о Саше-то? — не оборачиваясь, спрашивает он.

— Не терплю жалости, потому и не говорила. Расслабляет она, жалость-то. И без того тяжело.

— И все равно, Аннушка, нет тебе никакого резона проситься на фронт. Пойми, на войне всякое бывает. Вдруг Саша не убит, а тяжело ранен? Подлечится, вернется. А ты — на фронте. Как мы ему тогда в глаза поглядим? Женщину на войну, на фронт отправили.

— Дайте путевку! В тылу я все равно не останусь! — говорит она и уходит.

— И не останется,— вздохнув, произносит секретарь.— Я ее сколько знаю? Тринадцать лет? Да, тринадцать. Кремень человек!

Он снимает трубку телефона.

— Военком? Послушай, к тебе там Кванскова Анна придет. Так ты зачисли ее в корпус. Путевку я пришлю. Нет, это особенная женщина. Да. И обстоятельства у нее особенные.

— Ну и кем же прикажете зачислить вас, «особенная женщина»? — спросили ее в военкомате.

— Пулеметчицей.

— А может, танкистом? Механиком-водителем? — пошутил молодой офицер.

— Танкистом не могу. Плохо переношу запах бензина,— ответила она серьезно.— А с пулеметом справлюсь.

Присутствовавшие при этом разговоре уже не сомневались, что справится. Было в ней — крупной, немногословной — что-то настолько крепкое, волевое, что молоденький офицер, минуту

назад спросивший насчет танкиста, механика-водителя, сейчас вдруг почувствовал себя перед нею мальчишкой.

На медицинской комиссии Аня вела себя так, что врачи успели проверить ее слух, зрение, нервы — все, кроме сердца. Сердце у нее было больное, и она тщательно это скрывала. Когда спохватились, Аня уже исчезла. Конечно, с медицинским заключением. И никто из членов комиссии, наверное, даже подумать не мог, что у этой крупной, рослой, крепкой женщины может быть не в порядке сердце.

Ей было тогда тридцать два года, но выглядела она совсем молоденькой. И в мотострелковом батальоне — капитану пришлось взять ее, да не куда-нибудь, а в свой батальон, потому что пулеметчики нужны были только здесь,— так вот, в этом батальоне все стали звать ее просто Аня, Анюта, Аннушка.

К пулемету капитан Фирсов ее не подпустил: «Ишь, выискалась мне Анка-пулеметчица!» И отправил ее в санчасть артбатареи.

Началась учеба. Упорная, обширная, но предельно сжатая военным временем. Занятия проводились днем и ночью, по двенадцать-шестнадцать часов подряд.

18 июля 1943 года 30-й Уральский добровольческий корпус получил приказ о выступлении на фронт. «Настал долгожданный час,— говорилось в приказе.— Вперед, на Запад! Там решается судьба нашей Родины!»

...Деревня Борилово на знаменитой Орловско-Курской дуге. Кто из уральцев-добровольцев не помнит тебя?

Первые бои. Страшные, трудные бои. А этот — беспрерывный, десятичасовой!..

На батарее вышло из строя одно орудие, другое. Ранены орудийные расчеты. Ранен командир батареи лейтенант Борев.

В голову ранен командир первого орудия. Аня только готовит бинты, чтобы перевязать его, а он, ослепший, требует:

— Сними повязку, я еще могу стрелять!

Аня оглядывает поле боя. Это ее пространство. И дальнейшая жизнь каждого раненого зависит от нее — от ее мужества, ловкости, сноровки, силы, от того, как скоро она вытащит человека из-под огня в укрытие и окажет помощь.

Перевязав артиллеристов, она бежала к раненым автоматчикам — к одному, другому. Если нельзя было бежать: бил пулемет,— ползла. Стаскивала раненых в окоп, перевязывала, ободряла, говорила ласковые слова. Все это — спокойно, ровно, будто на учениях там, на Урале, в тылу.

— Два орудия осталось. Снаряды кончаются...— скрежещет зубами раненый командир батареи.— А машины... со снарядами... в балке... далеко... Не подойдут они... под таким огнем. А справа... танки... Сейчас в атаку ринутся...

Она думала: лейтенант бредит. Но он не бредил. Вражеские танки выходили из-за дальнего бугра. И на батарее осталась одна пушка.

Перевязав и укрыв в окопе очередного раненого, Аня окликнула бойца расчета Груздева:

— Бежим за снарядами! Скорее!

Они торопятся. Они задыхаются от бега. Сначала к машинам, в балку. Потом с двумя снарядами в охапке — каждый 16 килограммов — обратно.

Километр бега туда, километр обратно. Под неистовым огнем вражеских пушек и минометов. Под градом осколков.

— Скорее! Скорее! — сама себе твердит Аня.

До батареи остается несколько метров, когда неподалеку разрывается снаряд. Груздев падает. Аня осторожно опускает снаряды на землю и бросается к нему. Груздев еще в сознании. Он жалуется:

— Землей глаза забило...

А у Ани текут по щекам горячие слезы. Какая земля? Это от ранения в голову. Она перевязывает его смертельную рану.

И снова близкий взрыв. Аня прикрывает собой затихшего Груздева. Боль обжигает ей бок, вокруг растекается влажная теплота. «Ранило»,— отмечает Аня. И вдруг в какую-то секунду относительной тишины слышит тугой, спресованный воедино страшный рев множества вражеских машин. Присев, она пытается взять в охапку снаряды — свои и Груздева. А слезы все катятся.

Увидев в ее руках снаряды — целых четыре! — артиллеристы требуют:

— Скорее! Давай скорее!

И выводят последнее орудие на прямую наводку.

А по цепи, залегшей впереди, от солдата к солдату летят страшные слова:

— «Тигры»!.. Близко!..

— Вправо забирают!..

«Вправо?» — этого Аня боялась больше всего. Ведь там, в ложбине справа, у нее раненые. Больше пятидесяти человек.

Она еще надеется: «Может, кто-то подымется навстречу им?» Но никто не подымался. Аня соображает: «Бой начался на рассвете, а сейчас вечереет. Наверное, погибли автоматчики».

Взгляд ее падает на противотанковые гранаты в углу окопа. Она берет их — одну, другую, третью. Выскакивает на бруствер.

— Отста-вить! — неистово орет ей вслед лейтенант Борев.— Уметь надо. Чтоб не зря... Подорвешь гусеницу, а пушка-то... все равно... бить будет... Дай, я... Помоги выбраться! — Он карабкается из окопа, пытается ползти сам, но силы покидают его.

— Будьте там, с бойцами,— кричит ему Аня и стремительно мчится вперед. Потом падает, ползет. Впереди ползет кто-то раненый, обессилевший. «Видно, теряет сознание».

А танки совсем близко! Рев их моторов и стальное лязганье гусениц оглушают.

— Ничего, я сумею,— шепчет Аня сама себе.— Только бы не убили раньше времени! Только бы не убили!

Она ползет и ползет навстречу танкам. «Ну, теперь, кажется, хватит. Теперь достану». Уняв волнение, она готовит гранату, ложится поудобнее, собирается с силами.

Бросок!.. Второй!.. Два ближних «тигра» будто споткнулись. Остановились, замерли.

Но это случилось несколькими секундами раньше ее броска. «Наверное, для выстрела остановились. Чтоб точнее ударить,— думает Аня. Ругает себя: — Эх, поторопилась. Зря гранаты израсходовала. Целых две».

А танки стоят неподвижно. И некогда думать, что с ними. Надо ползти правее. Потому, что у нее есть еще одна граната. И потому, что идут остальные танки. Правда, уже не так решительно и нагло, но идут. И снова ползет она вперед.

Она не успевает швырнуть эту последнюю, третью гранату. Ближний к ней танк загорается — его как-то сразу, мгновенно охватывает яростное пламя. Это сработали артиллеристы. Остальные вражеские машины не выдерживают, поворачивают назад.

Наша пехота ободряется. Капитан Фирсов подымается в полный рост.

— Уральцы-добровольцы! За Родину! Вперед!

Он, комбат, еще не уверен, что они оторвутся от земли в этом тяжелом, первом, и потому особенно страшном, бою. Но они поднялись и ринулись в атаку, и схватились с фашистами в рукопашной, пустив в ход стальные ножи с черными рукоятками, те самые — златоустовские.

Перед отправкой на фронт рабочие Златоуста сделали для бойцов и офицеров Уральского добровольческого танкового корпуса ножи в черных деревянных чехлах. После первого рукопашного боя на Курской дуге гитлеровцы распространили в своих частях листовки, в которых говорилось: «Солдаты фюрера, будьте бдительны! На нашем участке появилась дикая дивизия черных ножей — черные дьяволы».

Плацдарм на другом берегу речки Орс захвачен.

Саперы разбирают несколько домов, наводят переправу, и по ней уже идут вперед наши «тридцатьчетверки».

Аня укрылась в темном тесном чулане уцелевшего дома и, ожидая, пока придут машины для раненых, тайком, боясь, что иначе ее отошлют в медсанбат и тогда она может потерять свой,

ставший теперь вдесятеро роднее батальон, сама накладывала себе на рану повязку.

А тем временем оставшиеся в живых артиллеристы всюду искали ее и с восторгом рассказывали всем, что это принесенные Анной снаряды решили исход боя.

— Жила у фрицев оказалась тонка. Долбанули мы подряд три танка, а он, фриц, и попятился. Но если б не эти четыре снаряда... Спасибо Аннушке!

Сколько их было, боев? Разве вспомнишь все, перечтешь? Из любого самого трудного боя выносила Аня раненых.

Командир корпуса — участник гражданской войны и Сталинградской битвы, уже немолодой, видавший виды человек, прошедший боевой путь от унтер-офицера царской армии до генерала Советской Армии, восхищенный мужественными и спокойными действиями Ани, не раз прямо на месте только что окончившегося сражения вносил в ее красноармейскую книжку свои личные благодарности.

Когда Аня склонялась над раненым из пополнения, новичком в бою, он, еще не знавший ее, еще не успевший услышать о ней восхищенных солдатских рассказов, видя на ее груди ордена Славы, Красной Звезды и медаль «За отвагу», верил: такая спасет!

Не однажды ходила Аня с группами автоматчиков в разведку, не однажды участвовала в разведке боем. Потом перевели ее в танковый батальон. Танкисты, может быть, больше, чем мотострелки, нуждались в крепких, верных и смелых руках санинструктора.

Возможность спасти раненых танкистов в подбитой или загоревшейся машине исчисляется секундами. И надо успеть в эти секунды. И надо суметь подавить мысли о собственной гибели в случае взрыва снарядов в танке. Надо думать об одном и делать это одно-единственное: спасать раненый экипаж.

И снова атаки, прорывы, бомбежки.

...Однажды девяти экипажам с десантом на броне было приказано во что бы то ни стало задержать, не пропустить фашистов на одном из самых трудных участков. Укрыться негде. И танкисты всю ночь окапывали машины у перекрестка дорог.

На рассвете послышался гул. Появилась колонна: семнадцать «пантер». За нею — грузовики с солдатами.

Начался бой. Гитлеровцам удалось окружить подбитую «тридцатьчетверку». Они влезли на броню, стали колотить прикладами автоматов.

— Рус, сдавайся!

Танкисты крутанули башню, пушкой сбили фашистов. Но машина уже дымилась, и Аня безмолвно плакала: ребята... живые... горят...

Вдруг она увидела, как открылся верхний люк, из него тяжело вывалился танкист, скатился с брони на землю.

Прихватив пару гранат, Аня бросилась на помощь.

— Куда? Вернись! — кричал ей вслед раненый механик-водитель.— Пропадешь!

Но как она вернется, если товарищ обожжен, может быть, ранен, если ему нужна помощь?

Слева хлестнула автоматная очередь. Аня упала. Осторожно глянула туда и обомлела: у тополей, в нескольких метрах от нее, стоят с автоматами и нагло ухмыляются гитлеровцы.

Гитлеровцев много. А у нее одна-единственная граната, и та в санитарной сумке. И каждое Анино движение вызывает в ответ автоматную очередь.

А, будь что будет! — она хватается за сумку. И тут раздаются дружные крики:

— Аннушка, беги!

— Скорее!

Справа и слева рвутся гранаты. Еще, еще! Следом стрекочут частые автоматные очереди.

Немцы у тополей упали на землю.

— Анюта, беги!

Это на помощь ей пришли десантники.

...Двое суток без передышки длился этот бой. Аня вытащила, перевязала, укрыла в селе раненых — всех до одного. Но фашисты, обойдя наши танки, пошли на село.

— А раненые? Как же раненые? Что будет с ними?

Аня бросилась в подвал одного дома, другого, собрала жителей села, прятавшихся там, сказала:

— Надо перевезти раненых в соседнюю деревню!

— Так ведь не на чем — нет в селе ни одной лошади.

— Придется нести на руках!

— Тут несколько километров,— заметил кто-то.

— Что делать? Война. А раненых надо спасти. Значит, понесем на руках! — И они стали распределять людей на группы.

Потом, не утирая слез, люди эти низко кланялись Ане. Сама того не ведая, она спасла их. Гитлеровцы сожгли село и расстреляли всех, кто в нем оставался.

А потом в бесконечно тяжелой чреде боев и атак пришел и этот — самый страшный и тяжелый, последний в жизни Аннушки бой.

О скорбных подробностях этого боя рассказал мне в письме бывший бригадный врач свердловских танкистов Ираклий Степанович Матешвили уже спустя несколько лет после войны.

...Это произошло в Цейсдорфе — в Германии. Танковый бой шел неравный и долгий. Тяжелораненых Аня собирала в лощину. И, когда гитлеровцы оттеснили наши танки, она, уже имевшая шесть осколочных и пулевых ранений, стала защищать лощину, где были раненые. Но скоро в дисках автоматов, которые Аня

брала у раненых, кончились патроны. На помощь Ане пытались пробраться фельдшеры старший лейтенант Шубдаров и младший лейтенант Петин. Однако гитлеровцы автоматным огнем прижали их к земле. Санитары Жураковский и Генуашвили бросились выручать офицеров. Вчетвером они заставили замолчать немецких автоматчиков и поползли дальше, но вскоре гитлеровцам снова удалось прижать их к земле.

И вот кончились патроны, кончились гранаты. Наши ребята были совсем недалеко. Снова и снова пытались они ползти на помощь Ане. Но перед ними бушевала пулеметная метель.

В бессильной ярости смотрели они, как трое гитлеровцев добравшись до лощины, застрелили несколько раненых бойцов и стали стаскивать с них сапоги и обшаривать их карманы. Увидев такое, один наш лейтенант решил застрелиться. Аня выбила пистолет из его рук и, схватив его, этот пистолет, выстрелила в гитлеровца. В того, который стягивал сапоги с нашего убитого бойца. Потом Аня отшвырнула пистолет в сторону — видимо, в обойме не было патронов — и, выхватив из чехла нож, бросилась на другого фашиста. Он упал.

В эту минуту неподалеку разорвался снаряд. Аня больше не встала. Осколок ударил ей в висок. А третий гитлеровец ее же ножом еще нанес ей несколько ударов...

...Сестренки батальонов — так величали нас, санитарок и санинструкторов, танкисты и автоматчики. Свою первую книгу, посвященную солдатам и офицерам нашего гвардейского Уральско-Львовского добровольческого орденов Красного Знамени, Суворова и Кутузова танкового корпуса, книгу о женщине на войне я так и назвала: «Сестренка батальона».

Я рада, что написала эту повесть уже по одному тому, что она помогла мне спустя более двух десятилетий после войны найти своих боевых друзей.

Получив письмо Ираклия Степановича, в котором он сообщил о гибели Ани, я уже не могла и думать ни о какой другой книге. Прежде всего рассказать о ней — первейший долг...

А тут как раз пришло приглашение совета ветеранов на первую встречу однополчан и на празднование Дня танкиста, Дня гвардии и двадцатипятилетнего юбилея нашего корпуса.

Укладываю чемодан, волнуюсь, а сама думаю: «Встреча — это, конечно, очень здорово! Но будут ли там те, кто может что-то еще рассказать об Ане?»

Мое беспокойство было напрасным. Полковник Семиколенных, оставшийся таким же деятельным и энергичным, каким был в двадцать четыре года, когда командовал медико-санитарной службой нашего корпуса, приехал сам и успел позаботиться, чтобы из Тбилиси, Гомеля, Ленинграда и других городов страны прибыли в Свердловск наши корпусные медики.

Мы заново пережили все. Вспомнили бои. Вспомнили погибших.

Однажды рано утром — другого свободного времени у нас не было — собрались мы в коридоре окружного Дома офицеров, разговариваем об Ане.

В это время из дальнего конца коридора, припадая на протез, подходит к нам Василий Яковлевич Фирсов, тот самый капитан, бывший член комиссии по формированию Уральского добровольческого корпуса, а потом командир мотострелкового батальона.

Я уже знала, что теперь Василий Яковлевич — горняк, главный специалист и секретарь партийной организации научно-исследовательского института Унипромедь.

Идет Василий Яковлевич, улыбается. Чувствуем мы, слышит он наш грустный разговор. И все-таки улыбается широко и радостно. И так, улыбаясь, спрашивает:

— О ком это вы здесь речь ведете?

Наступает неловкая пауза.

— Ведь слышал же! — зло шепчет мне на ухо Ираклий Степанович Матешвили, появившийся из дальней комнаты.

— Да об Аннушке,— со вздохом отвечает кто-то.

Кто-то добавляет:

— О той, которую ты пулеметчицей не хотел брать.

Кто-то в упор спрашивает:

— Не забыл?

— Не забыл,— все так же улыбаясь, отвечает Василий Яковлевич,— Анна Алексеевна Кванскова.

— Такая героиня погибла,— говорит кто-то.

— Жива наша Аня, не погибла,— сообщает Фирсов.

— Не может быть!

— Я же сам видел!

— Не верите? Она сейчас придет.

В дальнем конце коридора хлопает дверь. Появляется женщина.

Все оборачиваются, пристально и молча вглядываются: она не она?

Женщина эта кажется ниже, полнее. Седая.

На виске — заметная вмятина.

— Ой, что это вы все так на меня глядите? — смутившись, произносит женщина. И по голосу, по ее своеобразному говору все сразу узнают:

— Она! Аня!

— Анечка, дорогая ты наша!

— Аннушка! Милая Анютушка!

— Жива! Как ты? Где ты?

Ответила спокойно и просто:

— А все там же. Теми же яслями заведую.

— Аня! Жива! Чудо! Это же просто чудо! — восклицают все вокруг.

— Какое же тут чудо? Ребята вытащили.

Голоса слышатся издалека, будто из-под земли.

— Немедленно в госпиталь,— приказывает кто-то.— Ищите лошадей!

— Ой, что вы? Разве можно везти ее, такую? Да еще на повозке,— ужасается чей-то тонкий, почти мальчишеский голос.— Умрет по дороге от тряски.

— Пусть уж лучше здесь, по-человечески,— соглашается кто-то,— среди своих боевых товарищей.

— Немедленно в госпиталь! — повторяет тот же голос.

— Ну как, как везти ее такую, товарищ лейтенант? — жалобно причитает тонкий мальчишеский голосок.

— Больше всех ее жалко,— вторит ему другой.

— Ну ты, придержи язык!

Кто-то заворачивает ее в одеяло. Говорит:

— А может, все-таки найдется кудесник.

— Да нет, чудес не бывает.

Потом — провал. Звон, звон... Высокие качели подымают ее в самое небо. И жарко. Ох, как жарко печет летнее солнце!

Почти два месяца Аня была без сознания. За это время из фронтового госпиталя ее перевели в тыловой.

Она очнулась в комнате с высоким белым потолком. В окно тянет зеленью: молодой травой, молодыми листьями деревьев. И теплой влажной землей, и тонким ароматом каких-то знакомых цветов. Весна!

Кто-то разговаривает. Голоса женские. Потом хлопает дверь и мужской голос спрашивает:

— Где-то здесь знаменитый танкист лежит?

— Между прочим, палата эта, товарищ доктор, женская,— отвечает ему озорной, звонкий голос.

Аня хочет повернуть голову или хотя бы скосить в сторону глаза и осмотреться — где она, что с нею, почему так скованы тело, руки, ноги, голова? — но не может.

И все равно, это — счастье: она чувствует запахи весны, слышит звуки, голоса, слышит тишину. Оказывается, тишина — как песня. Как волшебная хрустальная музыка.

Вдруг над ее, Аниным, лицом склоняется человек в белом халате и белой шапочке. Наверное, это тот, который интересовался знаменитым танкистом.

— Вы меня видите? — спрашивает он.

Аня пытается повернуть голову, поднять руку.

Но рука непослушная. Другая рука тоже страшно тяжелая. И от попытки шевельнуться во всем теле возникает сильная острая боль.

Потом профессор смотрит Анины документы.

— Партбилет... ордена... медали,— вслух перечисляет он содержимое.— Красноармейская книжка. Между прочим, распух-

шая от благодарностей.— Это он говорит специально для женщины с озорным, звонким голосом.— Чьих же? Командира корпуса... генерал-лейтенанта... А фамилия?... Кажется, Родин? Да, все правильно: это и есть санинструктор танкового батальона. Танкист. Да еще какой! С таким можно говорить прямо... Так вот, дорогая Анна Алексеевна, вам нужна еще одна трепанация черепа. Это очень серьезно.

— Делайте... сегодня...— произносит Аня. А слов не разобрать. Даже самой непонятно, что же она сказала?

Но профессор понимает.

— Не сегодня, а сейчас. Не-мед-лен-но,— по складам произносит он.— Понимаете? Немедленно!

Аня прикрывает веки в знак того, что все понимает, что согласна.

...Она уже сидит. С помощью санитаров, но сидит!

Соседки по палате давно выписались.

По коридору ходят раненые. Иногда заглянут и пройдут дальше. Хоть бы зашел кто! Но профессор не разрешает. Говорит, пусть не беспокоят. А вот и он — легок на помине.

Профессор влетает, как всегда, стремительно — так, что свита из врачей и сестер едва поспевает за ним.

— Ну-с, Анна Алексеевна, дорогой человек, я вами доволен! — Он садится на стул у постели Ани и смотрит в ее глаза.— Очень доволен я вами. Очень! Теперь все позади. Теперь вы будете жить.

Да, кудесники все-таки есть!

...Семь часов подряд говорили мы с нею. Я слушаю и удивляюсь. В памяти Анны Алексеевны сохранились почти всеми нами забытые имена, фамилии, названия городов и населенных пунктов, которые мы освобождали, рек, которые форсировали. Меткость ее характеристик, точность деталей удивляют. Перед глазами сразу зримо воскресают образы товарищей — живых и павших.

Она немногословна. Она говорит скупо. Но в ее речи нет ни одного зря сказанного слова. Она знает цену многим человеческим качествам. И человеческому слову — тоже.

Уже ночь. Льет дождь со снегом. Я провожаю Анну Алексеевну на последний трамвай. Вот он прогромыхивает мимо гостиницы, ярко освещенный, пустой. Она бежит за ним, а я гляжу ей вслед и не замечаю, что не про себя, а вслух твержу все одно и то же:

— Это же чудо, чудо!

Ступив на подножку трамвая, Анна Алексеевна оборачивается, кричит:

— А завтра — ко мне!

Родной корпус.

Родная бригада.

Родные однополчане...

Наши фронтовые судьбы сплетены тесно.

Мы вместе ходили в разведки, в атаки и прорывы, вместе держали оборону, форсировали реки, освобождали и брали города, населенные пункты, высоты.

И разве можно такое забыть?

И потому корпус — родной. И люди, бывшие в нем,— родные!

И потому, не долечившись, удирали мы из госпиталей,— лишь бы в свой Уральский добровольческий!

И потому скрывали раны, которые можно было скрыть,— лишь бы не отстать от родного батальона!

Мы гордились и гордимся своим корпусом, который прославился в боях, стал гвардейским, Львовским и получил за героизм своих солдат и офицеров высокие награды Родины — ордена Красного Знамени, Суворова, Кутузова. Кроме этих трех еще 54 ордена прикреплены к знаменам частей, входивших в состав корпуса.

В Берлине и Праге, во Львове и Каменец-Подольском, в Свердловске и Перми и многих других городах и селах страны стоят памятники воинам Уральского добровольческого.

Их именами названы улицы освобожденных городов и поселков.

27 раз, когда давались орудийные залпы в ознаменование самых крупных побед нашей армии, Москва салютовала и в честь уральцев-добровольцев.

Имя корпуса называлось во имя первого победного салюта — за освобождение Орла и во время последнего — за освобождение Праги.

И потому мы гордились и сейчас гордимся своим Уральским добровольческим танковым корпусом — гвардейским, Львовским, трижды орденоносным!

...На моем письменном столе стоит плексигласовая миниатюра, на которой изображена бревенчатая изба, колючая заснеженная ель, громадная прямоствольная сосна, заиндевелые кусты. На подставке надпись: «...на память о встрече в День танкиста. Сентябрь 1966. Анна Кванскова». И все.

Но память — удивительная штука. Ее монолог произволен, своеобычен, прихотлив.

Я гляжу на миниатюру и вспоминаю все, что было в Свердловске. А было много. Объятия. Слезы радости. Запавшие в сердце слова.

И бессонные ночи.

И заново пережитые бои.

И торжественные вечера, и президиумы, где мы — при всех орденах и медалях.

И неловкие взволнованные речи.

И лица дорогих, родных однополчан...

Все это — как толчок для памяти, в которой лежат картины пережитого. Вспомнится чье-то лицо, и тут же придет на память боевой эпизод, связанный с именем этого товарища.

Да, наши фронтовые судьбы сплетены тесно. Служившие в разных бригадах корпуса, мы далеко не все знали друг друга. И все равно мы родные! Потому что на войне часто не знают имени того, кто спас тебя, и не спрашивают имени у того, кого спасают. На войне это будничное дело, и делают его все, кто оказывается в нужную минуту рядом. Мы все шли рядом.

Я гляжу на миниатюру на моем письменном столе, и моя растревоженная память воскрешает, казалось бы, уже совсем несвязуемые с фронтом картины далекого детства.

А связь, конечно же, есть.

У нас, в Сибири, такие же ели и сосны, а зимой точно так же вот заносит снегом избы.

И тропки в глубоком снегу такие же.

И так же набекрень лежат снежные шапки на пнях.

И сибиряки — такие же, как Анна Алексеевна,— спокойные, ровные и немногословные люди.

Передо мной опять встает открытое русское лицо — милое, голубоглазое, с гладко зачесанными русыми волосами.

Аня. Аннушка. Анна Алексеевна Кванскова.

Гвардии старшина. Бывший санитарный инструктор мотострелков и танкистов из Уральского добровольческого.

Коллектив авторов.

Р24 Рассказы о храбрых. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1976.

144 с. с ил.

Сборник военно-патриотических рассказов для детей среднего и старшего возраста.

Р $\frac{70803-087}{М158(03)-76}$ Р2

Содержание

Рассказы о храбрых

Редактор С. В. Марченко
Художник С. С. Киприн
Художественный редактор Г. И. Кетов
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректор А. Н. Винокурова
Сдано в набор 25/XII 1975 г. Подписано в печать 25/III 1976 г. НС 12158. Бумага тип. № 3. Формат 60×90/16. Уч.-изд. л. 8,9. Усл. печ. л. 9,0. Тираж 100 000. Заказ 738. Цена 40 коп.
Средне-Уральское книжное издательство. Свердловск, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», Свердловск, пр. Ленина, 49.





40 коп.

рассказы о храбрых

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК

Свердловск. Средне-Уральское книжное издательство. 1976

ДЛЯ ДЕВЧОНОК ТОЖЕ


РАССКАЗЫ О ХРАБРЫХ